**Название:** Чёрная сабля (Яцек Комуда)

**Автор(-ы):** Александр Свистунов

**Ссылка:** https://author.today/work/364288

# Общая информация

Оригинальное название: "Czarna szabla", Jacek Komuda

Перевёл на русский: Александр Свистунов, 2025 год

Другие мои переводы и актуальные новости ищи в моём телеграм-канале @lacewars

Аннотация:

Фантазия фантазией, а жить нужно.

В этой истории не будет ни очередного безупречного рыцаря без страха и упрёка, ни взмахов белоснежным платочком из окна башни. Будет кровь, впитывающаяся в землю. Пот, высушенный порывистым декабрьским ветром. Будут слёзы, когда чёрный дым от горящих усадеб застилает глаза.

Будет и старинная честь, гласящая, что слово стоит дороже любых денег. Чувство справедливости, не позволяющее отвернуться от незаслуженной обиды. Фантазия, гонящая по бездорожью среди ночи или заставляющая гулять в корчме на распутье до самого утра. Будет та особенная лихорадка, которую может вызвать в мужчине лишь исключительная женщина.

В этом повествовании будет всё, что можно описать двумя словами: шляхетская Речь Посполитая.

Эта книга — путешествие во времени, из которого не хочется возвращаться.

# Волчица

***1. Изгой в затруднительном положении***

– Он уже трахает её?

– Янкель не подал знак!

– Тихо, мужики! - прошипел Колтун, проталкиваясь сквозь толпу. Он высморкался на землю из правой ноздри, вытер нос рукой, а руку - о посеревший ватный зипун. Затем плюнул на руки и схватил топорище. – Сейчас вылезет, говорю вам. Как появится, бейте его по башке. По башке, мужики! Бейте сколько влезет!

Они прижались к необструганным брёвнам, сгорбились в подсенях еврейского кабака на главной площади в Лютовисках.

– Ой, страшно, – набожно прошептал Ивашко и перекрестился по-православному, справа налево. – Ведь он шляхтич, ясный пан. А кто на господина руку поднимет, того в Перемышле конями разрывают, а палач кожу сдирает и члены четвертует...

– Какой он шляхтич, – фыркнул Колтун и с беспокойством заметил, что толпа крестьян заметно поредела. – Вне закона он, сукин сын! Сам слышал, как его объявляли на рынке в Перемышле. Такого убить не грех!

– Страшный он! – пробормотал Янко, музыкант из кабака Янкеля. – Характерный мужик. А как выскочит, как саблей взмахнёт, сразу головы полетят. Полетят головы, ой, говорю!

– Смотри, как бы ты в штаны не наложил. А что он – чёрт?

Снова кто-то отделился от толпы. Колтун тихо выругался.

– За него награда есть, слышали? Две тысячи червонцев даёт пан староста Красицкий. Видели столько золота разом, сукины дети?

– Две тысячи? Боже милостивый. Это сколько бы за это репы было! - сказал придурковатый Хохол, который служил у Янкеля на конюшне за миску похлёбки и поношенную одежду. Он наклонил деревянные вилы и натянул меховую шапку глубже на глаза.

– Репы? До конца жизни сало жрать будешь, дурак!

– А я вам говорю, это настоящий чёрт. Глаза как у лешего горящие, когти как у упыря...

– Глянь-ка под ноги, не обмочил ли ты лапти, – насмехался Колтун. – Проверь, не прыгнул ли он к тебе в хату и не трахает ли твою Евку! По башке бить, говорю, сколько влезет. А как на землю упадёт, проверить, дышит ли, и сразу вязать его! А ты, Янко, от дверей отойди, трусы нам не нужны. Сами награду поделим.

– Тихо! - прошипел Ивашко. – Смотрите, не подаёт ли Янкель знак.

Сзади загремели конские копыта. Колтун почувствовал, как крестьяне, сгорбившиеся за ним, начинают прижимать его к деревянной стене кабака. Кто-то застонал, кто-то другой убежал; Колтун услышал удаляющиеся шаги. Он обернулся и замер.

К кабаку подъехали три всадника. Неспешно спустившись на землю, они привязали своих коней к коновязи и направились к зданию, не обращая ни малейшего внимания на кучи конского и коровьего навоза. Они шагали прямо по грязи, не замечая луж. Крестьяне, завидев их, расступались, словно по волшебству исчезая за углом кабака или прячась за поленницами дров. Колтун сразу смекнул, что к чему. Это были не просто мужики из ближних Лютовиск или Хочева... Перед ним стояли важные птицы. Разбойники с большой дороги? Или, может, знатные господа, решившие поживиться на чужой стороне? А вдруг и вовсе лихие вояки из какой-нибудь кварцяной хоругви?

Первый из прибывших оказался низкорослым и коренастым мужчиной со сломанным, кривым носом. Его глаза, острые и цепкие, как у хищной птицы, смотрели на мир из-под полей огромной, ржавой мисюрки, надвинутой на лоб. Во взгляде читались презрение, спесь и какая-то безбашенная удаль – у Колтуна от этого взгляда даже ноги подкосились. На боку у шляхтича висела сабля внушительных размеров в черных, украшенных серебром ножнах, а рядом красовались кинжал и пистолет. Жупан на нем был порван, грязен и, казалось, насквозь пропитан навозом и дорожной пылью. И все же, под лучами солнца поблескивал золотой ринграф с изображением Богородицы, висевший на шее у этого головореза.

Второй разбойник был высок и худ, как жердь. На нем были короткий рейтрок и рейтарские сапоги, доходившие до колен. Длинные, лоснящиеся от жира усы ниспадали до самых плеч. Грудь пересекал ремень от бандолета, небрежно перекинутого за спину, а на боку покачивался тяжелый палаш с богато украшенной, хоть и тронутой ржавчиной, гардой.

Третий оказался самым молодым из компании. Гладко выбритое лицо его покрывали шрамы и язвы, явный признак французской болезни. Одет он был в жупанчик из домотканого сукна.

– Что вы тут делаете, мужичьё?! – рявкнул шляхтич в мисюрке, дыша злостью и пивом. – Кого ждёте? Или на страже стоите?

Толпа крестьян уже сильно поредела. Колтун с тревогой отметил, что с ним осталось лишь несколько самых смелых, да и те медленно отодвигались на безопасное расстояние.

– Ты! – грозно ткнул пальцем в Колтуна разбойник. – Ты нам скажешь. Есть ли в корчме знатный шляхтич?

– А ты куда, шельма?! – крикнул высокий в сторону Янка-музыканта, который хотел улизнуть боком. – Сиди на заднице, когда пан спрашивает!

– Помилуйте, ясные паны! – завыл Янко и упал на колени. – Скажу, скажу, всё скажу!

– Есть ли в корчме пан Бялоскурский? – голос вожака, привыкший повелевать, не терпел возражений. Колтун живо смекнул, что спорить с ними – себе дороже. – Говори, не то высеку! Да еще сам плеть в зубах притащишь!

– Честное слово! Честное слово! – заскулил Янко. – Всё скажу, только не бейте! Пан Бялоскурский в алькове. Сейчас Ядзьку имеет. Или уже поимел... – добавил тише музыкант.

Шляхтичи переглянулись и громко захохотали. Высокий подкрутил ус.

– По домам, мужичьё! – рыкнул низкий. – А если кто из хаты вылезет, шкуру спущу!

Не нужно было повторять дважды. Крестьяне разбежались как стадо цыплят. Хохол поскользнулся, лапти разъехались под ним в грязи, и он рухнул во весь рост, ударившись башкой о коновязь. Ивашко схватил его за плечо, поднял на ноги.

– Ну, господа! – сказал сифилитик. – Обнажим клинки и за дело!

– Пойдём, потолкуем с паном Бялоскурским.

Высокий поплевал на огромные ладони и схватился за палаш. Тот в мисюрке положил руку на эфес сабли. И они двинулись к двери. Сифилитик распахнул ее ударом ноги, и вся троица скрылась внутри.

Колтун выглянул из-за угла, присел на корточки и навострил уши.

– Бей! Убивай! – взревел чей-то голос в чреве корчмы. Колтун услышал грохот, от которого волосы встали дыбом, свист сабель, звон сталкивающихся клинков, грохот опрокидываемых столов, лавок, разбиваемых мисок и Бог знает чего ещё.

– Слева, Рукша! Слева! Бей. Да ровнее!

Кто-то громко захрипел, с грохотом рухнул на пол, и звон стали стал тише.

– Сукин сыыын! – завыл чей-то голос. Колтун вздрогнул, когда узнал, что кричал самый молодой из разбойничьей компании.

Крик перешел в сдавленный стон, потом в хрип, и всё стихло. Колтун почувствовал, как холодный пот оросил его лоб. Плечи задрожали.

Внутри корчмы послышались шаги. Вдруг дверь со скрипом распахнулась. Мужик замер...

В дверях стоял коротышка со сломанным носом. Сабли при нем не было, он обеими руками держался за живот. Из ужасной раны хлестала кровь, заливая одежду, капая на грязный пол, на сафьяновые сапоги...

На негнущихся ногах шляхтич сделал шаг, потом еще один, еще... Колтун увидел в его глазах смертельную бледность. Разбойник пошатнулся, упал на колени в лужу навозной жижи, а затем рухнул лицом в грязь, задрожал, захрипел и замер.

Колтун перекрестился. Он дрожал так, что зубы стучали, как кастаньеты. Однако он пересилил себя и переступил порог. Шёл согнувшись, сгорбившись, с топором в руках. Просторные сени были пусты. Дверь в гостевую комнату была распахнута настежь.

Колтун ступал едва ли не на цыпочках. Осторожно выглянул из-за дверного косяка. Увидел большую комнату, устланную коврами и гобеленами. Стол был перевёрнут, стулья и лавки изрублены ударами сабель и палашей, ковры сорваны со стен. Разбитые кувшины и серебряная посуда валялись на полу.

Двое разбойников лежали на полу бездыханными. Самый высокий, разрубленный наискось – через висок, грудь и шею – лежал навзничь в луже крови, которая все увеличивалась. Сифилитик сидел, привалившись к стене, из его груди торчала окровавленная рукоять рейтарского палаша. Колтун с ужасом узнал оружие, принадлежавшее самому высокому из бродяг.

В комнате находился еще один человек. Высокий, с длинными седыми волосами, одетый в жёлтый шёлковый жупан, украшенный алмазными пуговицами. Он лежал, опираясь о край кровати, правой рукой держался за окровавленный бок, а левой пытался опереться, чтобы встать. Не сумев этого сделать, он застонал от боли. Колтун сразу узнал его. Это был его милость пан Мацей Бялоскурский, изгнанник, бродяга и смутьян, который годами ускользал от старост и бургграфов из Саноцкой земли.

Понимая, с кем имеет дело, Колтун задрожал, но не убежал. Он стоял как вкопанный, сжимая в руках топор.

Бялоскурский заметил его и, скривившись от боли, поманил его к себе.

– Мужик, – прошипел он, – иди сюда!

Колтун сделал шаг вперёд. И тогда в его голове блеснула предательская мысль. Одним прыжком он бросился к пану Бялоскурскому. Остановился, встретившись с ним взглядом.

– Принеси вина! – простонал Бялоскурский. – Цирюльника позови сейчас же...

– Сейчас, пане! – бросил Колтун. А затем одним быстрым движением опустил обух топора на голову благородного господина.

***2. Страх в Лютовисках***

– Ай-яй-яй! – причитал Янкель, хватаясь унизанными перстнями руками за чёрную, потрёпанную ермолку на седеющих волосах. – Ай-яй-яй! Что же вы наделали!

– Сам ты это придумал, жид пархатый! – рявкнул Колтун. – Сам ты нас надоумил, Иуда проклятый! Помнишь, что ты говорил? Что у тебя в корчме пан сидит, на которого есть кондаметы...

– Кондемнаты, – поправил Янкель и схватился за пейсы.

– Как ты и говорил! – прошипел Колтун. – Как ты брехал! Пошли, дескать, мужики. Вы, долиняне, и чёрта не боитесь. Дадим шляхтичу обухом по башке, добро его поделим, да еще и награду получим. А теперь что – по кустам?!

– Я хохошо всё запомнил. Но тепехь я боюсь. Я очень боюсь, потому что этот шляхтич жив, и он не забудет, в какой это кохчме по башке получил.

Они стояли перед навесом постоялого двора, окружённые толпой горожан и крестьян. Здесь были низкорослые, коренастые, патлатые и черноволосые горцы, одетые в тёмные сермяги, которые приехали в Лютовиска на конную ярмарку из соседних деревень – Процисного и Смольника. Были рослые и гордые ляхи из Долины в сермягах, с длинными усищами и волосами, подстриженными под горшок. Были королевцы, то есть русины, которые прибыли издалека, из-за Ославы. Были евреи в нарядных, расшитых ермолках, в халатах и накинутых на них меховых гермаках или копеняках. Были купцы из Хочева, Цисны и Балигруда, бабы, торгующие сыром и яйцами, были бакунщики, привозящие табак из-за венгерской границы, липтаки, цыгане, музыканты, субботники, валахи, и, вероятно, не обошлось без воров. Среди длинных волос и светлых чубов, среди шапок, колпаков и соломенных шляп виднелись выбритые головы казаков, капюшоны и бекеши субботников, а также немногочисленные шляхетские колпачки, украшенные перьями и кистями.

Все эти люди пришли сюда с одной целью – посмотреть на знаменитого разбойника, человека родом из ада, смутьяна, изгнанника, сорвиголову, бунтовщика и рубаку. То есть на пана Бялоскурского, чья дурная слава налётчика и жестокого человека неутомимо преследовала его последние недели по всей Саноцкой земле Русского воеводства, пока, наконец, не схватила за поседевшую голову. Пан Мацей полулежал с повисшей головой, привязанный к столбу, поддерживающему навес. Он ещё не пришёл в сознание и не слышал, как спорили о его персоне.

– Ты говорил, жид, что награда есть за его голову! – не унимался Колтун. – Говорил, что две тысячи дукатов даёт за него пан староста Красицкий. Так плати нам теперь! А награду себе в Перемышле получишь!

– Ой-вей! Это для меня никакой интехес. Никакой пхибыли! Одни убытки, – сетовал Янкель.

– Бери шляхтича, пархатый, – буркнул Ивашко по-русски и засунул пальцы за пояс. – Только деньги нам за него давай.

Еврей растерянно огляделся, ища поддержки.

– Вы шляхтича не боялись, – прошептал он. – Ты сам, Колтун, говорил, что его голыми руками возьмёшь, а как горилки попьёшь, так тебе и чёрт, и вухкулаки не страшны. Так вы его себе тепехь и забихайте! Вот, умные нашлись. Шляхтичу по башке дали, а как что, так всё на евхея! Потому что евхеи всегда виноваты. А мы ведь не какие-нибудь тухки. Не татахы, а ваши стахшие бхатья в вехе.

– Потише, потише. Не спешите, люди. Есть и на это совет, – заговорил Мошко из Тычина, еврей с пейсами, заплетёнными в косички, известный как Тычинский или Умный, так как писал таможенные реестры в Цисне. – Нужно доставить Бялоскухского в Пехемышль, к пану стахосте.

– А кто повезет? – обратился Янкель к Колтуну и Ивашке. – Хо-хо, я тут что-то мало вижу добховольцев. А может, я, евхей, должен это сделать? Потому что, в конце концов, всё всегда на евхеев падает!

– Эй, Колтун! – сказал Мошко из Тычина. – Ты ведь говорил, ой-вей, что ты удалец известный. Ты ведь пехвый за топор схватился. Так бери шляхтича. Он твой по пхаву.

– Бери, бери, – добавил Хохол, хитро поглядывая из-под бараньей шапки, надвинутой на глаза. – Он твой, и награда твоя. А я останусь и конём панича займусь. А также и пожитки, и кошелёк возьму. Жалко добру пропадать.

– Возьмёшь, но пинка под зад! – рыкнул Колтун. – Вы, сукины дети! Вы, хамы, дерьмом в задницу обмазанные! Добро брать вы первые, а голову подставлять не хотите! Возьмёте имущество пана, а меня отправите в замок, да в церковь пойдёте тропари читать, чтобы мне Бялоскурский на большой дороге башку оторвал! Чтобы я не вернулся и о доле в добыче вас не беспокоил! Прочь, говорю! Прочь от меня. А если вам плохо, то выходите, по-рыцарски, на дубины.

Повисла тишина. Колтун не преувеличивал. Все помнили, что не далее как на Крещение он изрезал и страшно изуродовал венгерского цыгана, который хотел украсть его вола.

– Слово, хамы!

При звуке этого безжалостного голоса все вздрогнули. Колтун обернулся, охваченный страхом. Ноги подкосились под ним.

Бялоскурский смотрел прямо на него. Мужик дрожал под взглядом выцветших голубоватых глаз шляхтича. Разбойник поднялся с земли, застонал, когда отозвалась свежая рана на боку. Дернул руками, привязанными к столбу, поддерживающему навес корчмы. Выпрямился, встал на ноги. Сплюнул.

– Хамы! – сказал он спокойно, негромко. На площади воцарилась тишина. Хохол и ещё несколько трусоватых мужиков испуганно перекрестились.

– Ты! – Бялоскурский посмотрел на Янка-музыканта. – Развяжи меня!

Янко съёжился от страха.

– И не вздумай! – простонал Колтун. – Не смей его трогать, сукин сын!

– Ннет, пан. Ннеет – пробормотал Янко. – Мы тебя к старосте отвезём. В Перемышль.

– Вы, хамы, козоёбы, сучье дерьмо! – процедил Бялоскурский с наигранным удивлением. – Что это значит? Как вы посмели поднять свои хамские лапы на благородного шляхтича?!

– Ты, пан, не кричи, – сказал Колтун. – Не на тех напал. Мы по закону действуем, а ты – нет. Ты сейчас не шляхтич, а вор и мошенник, а мы – крестьяне честные да работящие.

– Конституция года тысяча пятьсот девяносто первого гласит – добавил знающий закон Мошко – что изгнанника можно убить без наказания.

– Мошко прав! – подтвердил Ивашко. – За убийство разбойника награда полагается. Золотом.

– Награда... Верно. Только сначала меня к старосте отвезти должны. В Перемышль. А до этого много времени пройдёт. Очень много...

Наступила тишина.

– А до этого времени, – голос Бялоскурского стал ледяным, – до этого времени от Лютовиск и пепла не останется.

Толпа ахнула и попятилась. Лишь Колтун и Ивашко стояли на месте.

– В полудне пути отсюда стоит моя рота, – продолжал Бялоскурский невозмутимым голосом. – Прознают они о том, что вы сотворили, нагрянут сюда в гости. И задержатся надолго. А вас, хамов, за конём таскать будут да на воротах ваших же изб развесят.

– Слова это одни, пан, слова...

– А для тебя, хам, – жёстокий взгляд Бялоскурского остановился на Колтуне, – особую церемонию устроим. Угодим тебе лучше, чем мастер Якуб разбойнику Салате во Львове, а смерти ты будешь ждать как красной девицы...

Колтун побледнел, сжался, словно пытаясь стать меньше..

– Но не обязательно этому случиться. Развяжите меня, отпустите, и я дарую вам жизнь.

– Не верьте, мужики! – прошипел Колтун. – Он, собачий сын, всё равно сюда вернётся. Только землю и небо после себя оставит!

– За него награда положена! – крикнул Хохол. – К старосте его, негодяя!

Крестьяне загомонили, не зная, на чьей стороне правда.

Бялоскурский рассмеялся – холодным, злым смехом. Что-то заклокотало у него в груди. Он закашлялся и сплюнул кровью себе под ноги.

– Кто? – бросил он насмешливо. – Кто из вас, хамы, говноделы, отвезёт меня в Перемышль? Кто осмелится руку на меня поднять? Есть такой? Пусть выступит и помнит, что если потом попадёт в мои руки – я его за конём таскать буду. И как угря обдеру с кожи.

– Может, за старостой послать? – пропищал Мошко. – А сами подождём стражников.

– Пошлите – рассмеялся Бялоскурский. – До Перемышля три дня пути. Как к вечеру не вернусь к своим, пан Рамулт забеспокоится о дражайшем товарище. А как забеспокоится, созовёт пана Кшеша, и пана Тарановского, и пана Зброю, и станет вам тогда очень жарко. Так жарко, что и вся вода в Сане не остудит.

– А может, его убить? – выпалил Ивашко. – Мёртвого сподручнее везти...

– Ты что, ополоумел?! – рявкнул Колтун. – Нельзя связанного убивать! Я хоть и простой крестьянин, но честь имею!

– За живого награда больше, – вставил Мошко.

– Чего крутить, чего ходить! Нечего тут делать! – сказал Янкель. – Надо отвезти пана Бялоскурского к старосте. В Перемышль. Я сам коней дам тем, кто повезёт. И еды на дорогу. Кто смелый найдётся?

Желающих не нашлось.

– Ну, что вы хотите от бедного еврея? Я простой еврей. У меня нет никакой отваги. У меня торговля, торговля. У меня корчма. И детишки... И ни одного талера.

– Кто отвезёт пана Бялоскурского в Перемышль? – Колтун обвёл взглядом лица товарищей. Те потупились. Хохол весь сжался и попятился. Ивашко смотрел в землю, а Янко-музыкант покрылся испариной от страха.

Белоскурский фыркнул – коротко и зло. Он закашлялся, задыхаясь, и снова сплюнул кровью.

– Вижу, желающих нет, Колтун, – прохрипел шляхтич. – Что ж, развяжите меня, и покончим с этим...

Вновь повисла тишина.

– Отпустите меня, мужики, а не то хуже будет! – рявкнул он. – Колтун, ты, хам паршивый! С тебя, гада, шкуру спущу! По-московски знаешь, как делают? Кипятком обдают, потом ледяной водой, и так, пока вся кожа не слезет!

Наступила тишина. Крестьяне и горожане попятились, потупив взгляды. Толпа поредела.

– Никто не вызовется?! – взревел Колтун. – Что же вы, умники этакие? Чума на вас! Он же разбойник, вор и душегуб! Отпустите его, так он на купцов нападать пойдёт, деревни жечь, крестьян на виселицах вешать да на кострах сжигать! Руки-ноги им пилить будет! Простите его, колдуна этакого? Да он же вернётся сюда и всех вас вырежет!

Никто не хотел рисковать своей головой.

– Вам не кармазин с индиго носить, не бархат голубой, а дерьмо на кафтанах! – взвыл Колтун. – Да на вас Дыдыньского надо натравить!

– Я поеду!

Из толпы вышел молодой шляхтич. Совсем ещё юнец безбородый, лет шестнадцати-семнадцати, не больше. Одет он был в дешёвый жупан из выцветшего сукна красноватого цвета, подпоясанный чёрным потёртым поясом, на котором висели тощий кошель да сабля-баторовка, помнившая, наверное, ещё короля Стефана. Оружие имело длинную крестовину, широкий миндалевидный наконечник и рукоять, обмотанную потрёпанной лентой. Сабля, однако, была чистой и блестящей, в отличие от остального наряда. Казалось, это единственное ценное имущество молодого бедного шляхтича, чьи родители прозябали где-нибудь под Саноком, Сандомиром или Львовом на клочке земли или в какой-нибудь захудалой деревушке, где на пятерых шляхтичей приходился один полунищий крестьянин. У юноши было милое румяное лицо, ещё не тронутое шрамами, пьянством и разгулом. Будь у него косы, его можно было бы принять за миловидную девушку.

– Достойные жители Лютовиск, – проговорил он с важностью, – я Януш Гинтовт, герба Лелива. Я доставлю пана Бялоскурского в Перемышль.

– Молод ты ещё, пан, – проговорил Мошко. – Не справишься...

– Эх, что мне! Не могу смотреть, как несправедливость творится. Раз никого в этом селе нет, кто бы не боялся изгнанника, то я пойду! Когда я из дома выезжал, дедушка сказал мне, чтобы я обидчиков и злодеев карал, как истинный шляхтич и рыцарь, потому что я из знатного рода происхожу.

– Благородство в тебе вижу, пан, но ты один. А если Бялоскурский сбежит?

– Куда он денется!

– Кто ещё отважный, кто вызывается?!

Мошко обвёл взглядом собравшихся на рынке. Никто не вышел вперёд, никто даже не шелохнулся.

– Не нужно. – Гинтовт подтянул сползающий пояс. – Не нужно, уважаемый. Вы, честные люди, и так сделали всё, что могли, в меру своих скромных возможностей.

– Я-я-я-я-я-а в-в-в-вызыва-а-а-аюсь, – простонал какой-то голос. Из толпы вышел босой старик с наклонённой набок головой. Его руки тряслись, так же как и борода. Он с трудом выговаривал слова, а вокруг него витал стойкий запах горилки.

– Ты? – Колтун, оба еврея и остальные крестьяне уставились на него во все глаза. – Ты, Григорий, хочешь ехать?

В толпе раздались смешки. Григория чаще звали Горилкою по вполне понятной причине: трезвым его видели редко. Он жил в Лютовисках с незапамятных времён. И сколько его помнили, он всегда пил горилку, спал в грязи и навозе то на одном рынке, то на другом. Никто не знал, откуда он брал гроши на всё новые порции водки, которые он опрокидывал в себя под заборами или в сенях у евреев-шинкарников.

– Я ждал и ж-ж-ж-ждал. Я-я-я-я... Видел. Никто не в-в-в-выступил... Д-д-д-думал, ты, Колтун, пойдёшь... Н-н-н-но не хоч-ч-ч-чешь... Ну так я... Мне н-н-н-ничего не с-с-с-сделает Бя-я-я-ялоскурский.

– Не стыдно вам, мужики? – насмешливо спросил Мошко из Тычина. – У вас что, яиц нет?! К водке вы первые, а как разбойника конвоировать, так старый пьяница больше вашего смелости имеет!

Ивашко сочно сплюнул на землю и растер слюну ногой.

– Иду! Чтоб тебя холера забрала, жид!

Янкель вытер пот со лба. Ивашко посмотрел на Янека.

– А ты чего, музыкант, остаёшься? Мать твою шляхтич поимел, так что дух у тебя должен быть панский!

– Ты музыканта оставь! – взвизгнул Янкель, испугавшись, что лишится лучшего музыканта в Лютовисках. – Ой-вей! Талант это! Самородок! Жаль, если пропадёт на дороге! Вас, хамов, не жалко, вы и есть черти, а музыканта оставьте в покое!

– А ты? – Ивашко посмотрел на Колтуна.

– Иду, иду. Иначе награды и на святого Мартина не увижу.

– Если уж отправляться, так поспешим, – сказал пан Гинтовт. – Скоро стемнеет. Дед мой говаривал: что отложишь на вечер, то до утра убежит.

Гинтовт был прав. Солнце уже клонилось к закату, опускаясь к вершинам Отрыта, поросшим вековыми лесами. Тени стали длиннее.

– Эй, Хохол, седлай коней! – крикнул Янкель. – И сухарей сюда, вяленого мяса, да горилки не забудьте!

Гинтовт подошёл к Бялоскурскому и проверил путы на его руках. Затем положил ладонь на рукоять сабли.

– Пан Гинтовт, – отозвался Бялоскурский, – на кой чёрт ты хочешь быть героем этой деревушки? Завтра эти хамы и забудут, кто ты такой... А послезавтра, когда раненый будешь искать помощи, кошелёк отрежут и оглоблями забьют!

– Трудно вашей милости понять, но кто-то должен защищать справедливость...

Бялоскурский внимательно оглядел тощий жупан молодого шляхтича, его старую саблю, доставшуюся, вероятно, от прадедов, стоптанные сапоги, из которых вот-вот должна была полезть солома.

– Смелый ты, голодранец. Оставь меня, и жить будешь!

– Я уехал из дома, чтобы службу себе найти, – загадочно улыбнулся Гинтовт, – пообещал родителям слабых защищать. Вот, только в первую деревню заехал, а обидчика уже встретил. То-то обрадуются дедушка с родителями. А ты прости меня, пан, по-христиански. Я против тебя зла не держу, просто долг выполняю. Простишь?

Бялоскурский захрипел, харкая кровью.

– Заплачу. Хорошо заплачу!

– Не поможет.

– В аду гореть будешь! Затащу тебя на самое дно, туда, где восьмой круг дьявольский!

Гинтовт побледнел. Сглотнул, перекрестился и, отвернувшись, пошёл к лошадям. А Бялоскурский вдруг подумал, что будто бы где-то видел этого молодца.

***3. На Остром***

Сумерки опустились быстрее, чем они рассчитывали. Едва они выехали из Лютовиск и начали подниматься по поросшим лесом склонам Острого, как багровое солнце уже клонилось к вершинам полонин, опускаясь за хребты Бескида. Позади осталась долина, деревня, а за ней – тёмная стена гор, чётко вырисовывающаяся на фоне пылающего алым закатом неба. Это был Отрыт, поросший буковым и еловым лесом, в долинах между его склонами уже сгущались сумерки. Гораздо дальше, за долиной Сана, где река пенилась на валунах и каменистых порогах, возвышались мрачные, подёрнутые дымкой Дверник и Смерек – вершины Ветлинской гряды и Царинской гряды. Сейчас, ранней весной, их ещё укрывал снег, таявший день ото дня под всё более тёплыми лучами солнца. Леса у подножия угрюмых вершин были серыми и зелёными, луга и рощи пестрели пятнами жёлтого, чёрного и серого, а ручьи, питаемые талой водой, стекали вниз, словно серебряные ленты. Весна лета Господня 1608 года выдалась ранней. Уже в конце февраля растаял снег на полях, высоко в горах перекликались ястребы, птицы возвращались из тёплых краёв, а дикие гуси клиньями тянулись на север.

Они остановились на ночлег на Остром. Гинтовт нашёл подходящее место под сенью трёх сросшихся, искривлённых буков. Вокруг росли высокие, сухие травы; первоцветы, лилии и купальницы уже закрыли свои лепестки до утра. Из долин ручьёв – Чёрного и Глухого – доносился таинственный плеск воды. Крестьяне быстро развели небольшой костёр, Горилка расседлал лошадей, а Гинтовт обошёл окрестности с саблей в руке. Место было хорошо укрыто и находилось в стороне от дороги. Никто не должен был заметить их с тракта или учуять запах дыма. Несмотря на это, Гинтовт решил не терять бдительности. Ведь в любой момент могли появиться дружки Бялоскурского.

– Эй, молокосос, вели меня развязать, – дерзко бросил пленник, когда его стащили с лошади и бросили у костра. – Ужинать пора, а я не собираюсь жрать с земли, как собака.

– А кто вам говорил, пан, что вы ужинать будете?

– Так ты не знаешь, что пленника по-христиански кормить нужно? Зачтётся тебе на небесах доброе дело, братец. А когда их побольше накопишь, так живьём в рай попадёшь.

– Как я вас развяжу, – засомневался Гинтовт, – так ваша светлость и сбежит.

– Слово даю.

Горилка, Колтун и Ивашко уже достали из сумки из сумки сухари, копчёности, сушёную колбасу и бурдюк с водкой. Они ели у огня, давясь и рыгая.

Гинтовт перекрестился.

– Дедушка говорил, что к обидчикам жалости проявлять не стоит. Особенно к тем, кто Пресвятую Деву не чтит. Думаю, однако, что в Перемышле вас накормят как следует... но вряд ли тем, что вам по вкусу придётся. А потому... ладно. Ешьте с нами.

Гинтовт вытащил пистолет Бялоскурского, взвёл курок и подсыпал пороха на полку.

– Колтун! Разрежь верёвки на его руках.

– Пан Гинтовт, да он же сам дьявол! – взмолился крестьянин. – Задушит нас всех, глотки перегрызёт!

– Я сказал – режь!

Голос молодого шляхтича изменился. Теперь он был грозным и безжалостным. Колтун, волей-неволей, послушался – перерезал ножом путы на запястьях пленника. Бялоскурский хрипло рассмеялся, сел, разминая затёкшие руки, схватил связку сушёной колбасы и с жадностью впился в неё зубами. Гинтовт сел напротив, не опуская нацеленный пистолет.

– За что ты меня так невзлюбил, щенок? – спросил Белоскурский с набитым ртом. – Я не портил твоей девки, не творил содомии с твоим дедом.

Гинтовт молчал.

– Спрашиваю! – рыкнул своевольник. – А когда кто-то спрашивает, вежливость требует ответить, господинчик с побрякушкой!

– Мы уже знакомы, сударь.

– Не припоминаю. Откуда же?

– Неужто не признаёте, ваша милость? – с издевкой протянул Гинтовт. – Ведь мы когда-то виделись.

– Разве что в борделе и в темноте, ибо лица вспомнить не могу.

– Нет, ваша светлость, – прошептал Гинтовт. – Ты хорошо меня знаешь, хоть память тебе и изменяет. Но ты ещё вспомнишь. Всему своё время.

Бялоскурский вздрогнул – в голосе юнца прозвучала неприкрытая угроза. Он нервно усмехнулся. Подтянул ноги и хотел встать.

– Лежать!!!

Голос юнца был холодным и неприятным. Бялоскурский замер. Юнец целился ему прямо в сердце. Старый разбойник заметил, как напрягся палец на курке. Ещё миг – и...

Он повалился на спину и вздохнул. Чёрт побери. Такой молодой, а говорил как старый смутьян.

– Руки за спину и без шуток! Колтун, Ивашко! Связать его милость.

Крестьяне без слов выкрутили Бялоскурскому руки за спину, а затем обмотали крепкими конопляными верёвками.

– Куда ты так рвёшься, пан Бялоскурский? – процедил Гинтовт. – Неужели не хочешь доехать живым до Перемышля? Ещё пару дней птичек послушать, на деревья посмотреть? Подумать о бренности бытия...

Бялоскурский сплюнул. Захрипел и закашлялся, а потом начал плевать кровью.

– Пан Гинтовт, – сказал он немного более покорным тоном, – на кой чёрт ты хочешь тащить меня по горам и лесам? За мою голову назначена цена, две тысячи червонцев. Ты получишь их, если доставишь меня целым к старосте, а ведь по дороге может всякое случиться. Так зачем тебе трудиться?! Вот, у меня тут недалеко зарыт сундук с червонцами. Дам тебе ровно столько, во сколько оценивает мою голову пан Красицкий – две тысячи дукатов. Думаю, это достойная плата.

– Тебе бы о душе подумать, а не о дукатах, пан Бялоскурский, – прошептал Гинтовт. – Не верю я тебе. И поэтому, – он холодно улыбнулся, – пора, братец, тебе, наконец, начать молиться, потому что мы всё ближе к Перемышлю, а там... Право слово, даю голову на отсечение, что когда увидишь старостинский замок и шляхетскую башню, упадёшь на колени и будешь исповедоваться в грехах.

Бялоскурский выругался. Упал на спину и уставился в небо. Разборка с Гинтовтом и крестьянами оказалась значительно труднее, чем он думал.

***4. Смертоносный попутчик***

Горилка открыл глаза. Дым от тлеющего костра поднимался к небу, на востоке уже занималась заря. Медленно, словно нехотя, рождалось туманное утро. Высоко в горах сверкали полосы света, но внизу, в чаще леса, царил мрак, а долину заволакивал густой туман. Не было ни ветра, ни пения птиц. Огромная белая луна висела в небе, заливая своим мертвенным светом деревья, коней и спящих у костра людей.

Горилка проснулся не для того, чтобы любоваться суровой красотой Бескид. Прислушавшись к дыханию товарищей и убедившись, что Гинтовт крепко спит, он жадно схватил свою сумку. Быстро развязал верёвки и вытащил заветный бурдюк с горилкой.

Окинул взглядом спящих. Ни один мускул не дрогнул на их лицах. Все спали, как невинные младенцы. Ведь во сне даже самый отъявленный негодяй похож на ангела... Или нет? О нет... Только не Бялоскурский. Шляхтич и во сне ухмылялся, словно насмехаясь над всеми – над Гинтовтом, над Горилкой, над старостой Красицким, а может, и над палачом, ожидающим его в Перемышле с острым мечом в руках.

Гинтовт во сне тихонько всхлипнул. Горилка замер, на мгновение ему даже показалось, что он перестал дышать. Затем он осторожно отошёл к деревьям. У костра оставаться было опасно – товарищи могли проснуться, а им вряд ли понравилось бы то, чем он собирался заняться. Опустошать бурдюк следовало в одиночестве. Как обычно. Он откупорил его и сделал большой глоток. Ах! Мир сразу заиграл яркими красками. Кости перестало ломить, голова прояснилась. Он направился вниз, к ручью. Минуя гладкие стволы могучих деревьев, он спустился к воде, петляя между узловатыми, переплетёнными ветвями старых буков. Мертвенный лунный свет выхватывал из темноты их скрюченные, словно когтистые, ветви, а над ручьем клубился легкий туман.

Внезапно в темноте что-то зашуршало. Горилка резко обернулся, прижимая к груди своё самое дорогое сокровище – бесценный бурдюк. Что-то двигалось среди деревьев... Наверное, филин или сова. А может, лиса?

Он сделал ещё несколько больших глотков. Пил, пил, пил, пока краски вокруг не стали ещё ярче, а ночные шорохи – громче.

Горилка подошёл к месту, где ручей тихонько журчал по каменистому дну.

Раздался всплеск. Что-то зашевелилось позади. Зашелестели ветви буков, злых буков, хотя ветра не было. Горилка с беспокойством огляделся.

Что-то было там, под деревьями. Что-то скользило во мраке, неслышное, как призрак, хитрое, как волк, беспощадное, как валашский упырь... Оно пряталось в чаще, в безлистных ветвях старых деревьев, голодное и жаждущее. Волосы на голове Горилки встали дыбом. Он пятился назад в ужасе. Осознавал, что совершил ошибку, удалившись от лагеря, но было поздно. За спиной раздался лязг металла. Горилка съёжился, прижимая к груди драгоценный бурдюк, и медленно обернулся...

– Госпожа! – всхлипнул он, задрожав всем телом. – Г-г-г-г-г-о-с-п-о-ж-а. Я не... Я ничего... Это горилка... Это всё она...

Мрачная фигура не шелохнулась.

– Я не... Нет... – простонал Горилка.

Клубы тумана на мгновение поднялись над ручьём, скрывая луну. В темноте раздался короткий, прерывистый свист стали, а затем долину потряс ужасающий, пронзительный крик Горилки...

Алая, дымящаяся кровь брызнула на камни, смешиваясь с водой ручья...

***5. На рассвете***

Все вскочили как по команде. Первым – Белоскурский, за ним – Ивашко, а потом – Колтун. Они испуганно вглядывались в ночную темноту. Ивашко выпрямился.

– Горилка!

– Напился, пьяница! – прошипел Колтун. – Я ему покажу...

– Тссс! – прошептал Ивашко. – Стереги пленника.

Он схватил чекан, лежавший возле костра, и бросился к деревьям. Забежал под первый бук и... столкнулся с чем-то мягким, но крепким. Сила удара отбросила его в сторону, он даже упал на колено среди жёлтых листьев. Он даже не успел испугаться...

Это Гинтовт стоял в тени деревьев с обнажённой саблей в правой руке и пистолетом в левой. Молодой шляхтич вглядывался во тьму, прислушиваясь.

– Что происходит?

– Тихо, – прошептал Гинтовт. – Горилка водку забрал. Пошел пить. Я уже знал, чем это кончится.

– Христе помилуй! – Ивашко набожно перекрестился. – Дитко его настиг и задушил... Горе нам! Горе!

– Где Колтун?

– Шляхтича стережёт.

– Бери чекан, хам, – прошипел Гинтовт. – Прикрывай мне тыл. Идём!

Они двинулись во тьму. На небе светлело. Медленно занимался день, лунный свет побледнел, сжался... Они спустились в долину, под ветви вековых буков, а Ивашко снова перекрестился, увидев пугающие, мрачные силуэты деревьев..

Гинтовт шёл смело. Ступил в туман, обошёл камни, торчащие на берегу ручья. Перед ними открылась большая поляна, залитая лунным светом... Они сразу заметили тёмную фигуру в крестьянской свитке. Гинтовт бросился к ней, наклонился и вздрогнул.

Горилка лежал на земле, изрезанный, изрубленный почти на куски. Отрубленная правая рука всё ещё сжимала бурдюк с водкой. Выпученные глаза смотрели прямо в небо, а на губах запеклась рубиновая юшка... Тело было покрыто красной, густеющей кровью.

Ивашко зарыдал, выронил чекан, упал на колени. Гинтовт в ужасе раскрыл рот, задрожал. Он огляделся вокруг, бессмысленно водя саблей в воздухе.

– Уходим! – прошептал он. – Ивашко! – простонал и вытолкнул крестьянина с поляны. – К коням. Уходим!

Они бросились в сторону лагеря. У них было ощущение, что вот-вот что-то вынырнет из тумана и прыгнет им на спину... Ветви хлестали их по лицам, они спотыкались о корни и камни. Задыхаясь, они выскочили из леса, добежали до костра. Гинтовт с облегчением вздохнул, увидев бледного как стена Колтуна и распростёртого на земле Бялоскурского, который, казалось, вовсе не переживал по поводу всего этого.

– Седлать коней! – простонал он. – Быстрее.

Крестьяне бросились к лошадям. Гинтовт вытер пот со лба. А Бялоскурский? Бялоскурский разразился долгим кашлем, сплюнул кровью и злобно усмехнулся.

– Ой-ой-ой, – сказал он. – Кажется, уменьшилась наша компания. Пан Горилка exitus. Какая потеря! А кто же будет следующим?

***6. Господа Рытаровские***

Уже рассвело, когда они добрались до Чарной, расположенной на пересечении дорог из Хочева и Перемышля. Село, основанное сто лет назад на магдебургском праве, кипело жизнью. Вдоль тракта, куда ни глянь, тянулись большие крестьянские избы из тесаных бревен, скрепленных на углах в ласточкин хвост. Это были просторные и ухоженные дома под высокими желтыми соломенными крышами, побеленные или разрисованные коричнево-белыми или черно-белыми полосами. Дворы были обнесены заборами с подсолнухами, некоторые дома щеголяли навесами и даже крылечками, напоминая шляхетские усадьбы. Тут и там возвышались длинные шесты с колесами на верхушках – аистиными гнездами. Четыре деревянные ветряные мельницы и одна голландская, дающая муку белую как снег, мололи зерно на лугу перед селом. В двух кузницах ковали сталь и железо, в сукновальне чесали шерсть, а в корчмах с утра лилось пиво и мед. В селе также было полно еврейских лавок. Над соломенными крышами возвышались башни и колокольни двух церквей, костела и синагоги с затейливой крышей. Церковь Святого Димитрия была обычной, деревянной, с простой двускатной крышей – почти как три сарая, составленных вместе. А вот от церкви Святого Кирилла глаз было не оторвать. Круглая и пузатая, с тремя колокольнями под гонтом и золотыми маковками, с уютными навесами, крыльцом и оградкой, с крошечными окошками, в которых сверкали витражи.

По другую сторону села темнела замшелая крыша костела, а дальше виднелась еврейская святыня. В Чарной все было устроено по божьему промыслу. Крестьяне собирались на рынке, шляхта – в корчме, а евреи – на крыльце синагоги.

В селе царило оживление. Крестьяне ехали на рынок, вели крупных, жирных коров с всклокоченной бурой шерстью. Торговцы раскладывали товар. Гинтовту и спутникам приходилось проталкиваться сквозь галдящую толпу, ругаться, отпихивать мужиков и батраков.

Остановились они на рынке, в армянской корчме Ондрашкевича. Оставив лошадей во дворе, уселись в алькове. Гинтовт тут же велел подать крепкого венгерского, а для начала – водки. Это подняло настроение мужикам из Лютовиск. Колтун перестал трястись, Ивашко повеселел; только Бялоскурский по-прежнему холодно улыбался.

– Кто же это... натворил? – выдавил наконец Колтун.

– Нечистая сила, – буркнул Ивашко.

– Скорее какой-нибудь зверь, – проворчал Гинтовт. – Хорошо хоть не люди Бялоскурского. Те бы сразу своего пана освободили.

– Что же нам теперь делать?

Гинтовт промолчал. Сидел, обхватив голову руками, уставившись в стену.

Он словно оглох и ослеп. Даже не шелохнулся, когда во дворе загремели копыта, раздался грозный окрик, а потом дверь с грохотом распахнулась.

Крестьяне вздрогнули, увидев вошедших. Ивашко, приглядевшись к незваным гостям, тут же пожалел, что так легкомысленно согласился ехать с паном Гинтовтом в Перемышль. Колтун и вовсе оцепенел. Только прикинул, далеко ли до ближайшего окна. Но окно оказалось узким, а рама – забитой гвоздями. Чтоб не вышибали во время очередной пьяной драки. Тогда Колтун глянул под стол – прикидывая, не спрятаться ли там. И лишь Бялоскурский не растерялся – толкнул локтем Гинтовта и кивнул на вошедших.

Они сразу бросались в глаза. Впереди шагал высокий, тощий мужик в кафтане, с крахмальным воротником под горло и в шотландском берете. Кафтан когда-то был роскошным, богато расшитым серебром. Видно было, что хозяин его не одну корчму обошёл, а главное – не из одного притона вылетел в канаву. Одежду «украшали» бурые пятна то ли от вина, то ли от крови, уродливые потёки воска, разводы от грязи, воды и бог знает чего ещё. Некогда белоснежный воротник, туго стянутый на шее, обтрепался и посерел от грязи. Не лучше выглядела и физиономия. Когда-то, верно, надменная и породистая, теперь она заметно поистрепалась. Длинный горбатый нос, слезящиеся глазки, жидкие усишки уныло обвисли над губами, за которыми не хватало нескольких зубов.

За этим мужчиной следовали двое шляхтичей, похожих друг на друга, в добротных, хоть и потрёпанных и растянутых малиновых жупанах. Один носил турецкий шлем с длинным султаном, другой – волчью шапку, украшенную перьями цапли. На боку у обоих висели чёрные сабли, а их лица, суровые и усатые, были покрыты шрамами. Нетрудно было их узнать. Это братья Фабиан и Ахаций Рытаровские из-под Львова – известные смутьяны и буяны. Руки они держали на рукоятях сабель. Позади шёл их слуга с двумя пистолетами.

– Вот, бродили мы, бродили и нашли! – обрадовался мужчина в иноземном наряде, увидев развалившегося на лавке Бялоскурского. – Говорил я, что на Перемышль поедут. Как раз этим трактом.

Он окинул внимательным взглядом Гинтовта и двух крестьян.

– Ну, пусть убираются! – прошипел он, и молодой шляхтич почувствовал от него запах горилки. – Пусть уходят. У нас дела к пану Бялоскурскому. Важные дела, которые не терпят отлагательств. Allez vous!

– А кто вы такой, сударь? – процедил сквозь зубы Гинтовт. – Не мешало бы представиться.

– Как это? – изумился худой. – Пгошу так не обгащаться со мной и не титуловать непочтительно. Как же так, не знаете меня? Я – Зеноби Фабиан Эйсымонт-Роникер, граф Рониславицкий. А вы хоть шляхтич? Я в этом сомневаюсь. Я в этом очень сомневаюсь. Как у вас хватает наглости называть себя благородным, если о ваших благородных деяниях я не слыхивал. Я не верю, что вы шляхтич, мне нужно было бы сначала увидеть ваше пожалование дворянства. А поскольку пожалования у вас нет, стало быть, вы должны уступить более благородному. Так знай, мальчишка, что я – граф Роникер и урождённые паны Рытаровские имеем дело к его милости Бялоскурскому. Так что исчезни. Уезжай, чтобы нам не мешать!

– Эй, граф, за щеку брав, – бесцеремонно вмешался старший Рытаровский, явно не питавший никакого уважения ни к светлейшему Зеноби Фабиану Эйсымонту-Роникеру, графу Рониславицкому, ни к его титулам. – Кончай, ваша милость, речь толкать, позора избавь. За сабли, что там с хамами разговаривать! Нужно изгнанника отбить и награду забрать.

– Молчи, простолюдин! – возмутился граф. – Ведь negotionibus, переговоры тут у нас.

– Послушай, – обратился он к Гинтовту, который встал и вышел из-за стола. – Ты поймал Бялоскурского, это похвально, но уступи достойнейшим, чтобы никто не сказал, что ты выскочка! Мы сами займёмся изгнанником и отведём его в Перемышль. Pro fide, lege et rege – во имя веры, закона и короля, то бишь.

– Пан Зеноби pro fide это сделает. А мы pro pecunia – деньжат ради, потому что мы не какие-то там графы или пудреные щёголи, а изгнанники и рокошане, а при том достойные рыцари, – захохотал младший Рытаровский.

– Эх, что говорить! – Старший из братьев харкнул и сплюнул. – Я тебе это, кавалер, простыми словами растолкую. Отдавай нам Бялоскурского, а если не отдашь, то по башке получишь саблей и такого пинка под зад добавлю, что из этой корчмы через дымоход вылетишь. Мы уж о пане Бялоскурском позаботимся и проследим, чтобы он нам по дороге не околел.

– Вот правильные и справедливые слова, – подтвердил Зеноби Фабиан Эйсымонт-Роникер, граф Рониславицкий. – Не ищи с нами ссоры, кавалер, а то здоровье потеряешь. При этом веди себя, как подобает твоему жалкому положению.

– Боюсь, что сильно огорчу светлейшего пана графа, - спокойно произнёс Гинтовт. – Сочувствую пану графу безмерно, ибо, к сожалению, мы не во Франции или в габсбургских дворцах в Вене. Мы в Речи Посполитой, где живут шляхтичи вроде меня, которые не знают ни хороших, ни красивых манер. Куда им до салонов, куда им до Европы! Скажу больше – эти простаки не только не признают графских титулов, но и имеют скверный и ужасный обычай, совершенно недостойный и невиданный во Франции или в Италии. А именно – жестоко бьют по корчмам всяких щёголей, графов, кавалеров и прочих галантов, а также содомитов.

– Что я слышу?!

– Мне ужасно жаль пана графа. Потому что через минуту пан граф будет избит, оскорблён и унижен таким выскочкой и простаком, как я. Ваша графская милость потеряет зубы, пальцы и голову разобьёт, не говоря уже о побитой сифилитической роже вашей милости!

Маленькие глазки Зеноби Фабиана Эйсымонта-Роникера сузились ещё больше и стали очень, очень злыми. Пан граф схватился своей костлявой рукой за рукоять графской рапиры, желая в праведном гневе наказать мерзавца и выскочку. Увы, не успел. Прежде чем он вытащил из ножен длинное лезвие, Гинтовт с размаху рубанул его по макушке, лбу, носу и половине графской физиономии.

– Sacrebleu! – тонко пискнул Зеноби Фабиан Эйсымонт-Роникер и по-графски повалился навзничь. Потом всё завертелось.

– Бей! Убивай! – гаркнул старший Рытаровский. Братья схватились за сабли, бросились на юношу, их слуга опустил пистолеты и выпалил из обоих стволов, но Гинтовт снова оказался проворнее. Он нырнул под кривым лезвием, перепрыгнул через опрокидывающуюся лавку. Пули пролетели мимо него, просвистели рядом с Бялоскурским. Одна попала в икону Николая Чудотворца, висевшую на стене за изгнанником и загаженную мухами, а другая... Ивашко повезло меньше. Заинтересованный затянувшейся тишиной, он высунул голову из-под стола и получил прямо в плечо; он даже не охнул, только сполз на пол, залитый кровью. В корчме поднялся шум, раздались крики, вопли. Крестьяне бросились к дверям, а Ондрашкевич, привыкший к ссорам и потасовкам, предусмотрительно спрятался под стойку.

Гинтовт растолкал Рытаровских, бросился к слуге, всё ещё державшему дымящиеся пистолеты. Тот отбросил их, схватился за саблю, но молодой шляхтич проскользнул мимо него, на ходу полоснув концом баторовки по животу и боку. Слуга закричал и рухнул на пол, воя и крича, удерживая вываливающиеся внутренности, а его кровь потекла на белые, вычищенные доски пола.

Рытаровские набросились на Гинтовта с двух сторон. Старший рубанул плашмя, с полуоборота по кисти, младший с размаху, прямо в голову и шею!

Гинтовт со звоном парировал клинок младшего из братьев, крутанулся на месте и чудом, почти дьявольским трюком, увернулся от сабли старшего. Уклоняясь от лезвия, он наклонил голову, его колпак съехал, и из-под подвёрнутого края на плечо юноши выпала длинная, тяжёлая чёрная коса...

Выпрыгивая вперёд, Гинтовт рубанул в сторону баторовкой, разрубив правое плечо младшему Рытаровскому. Шляхтич даже не поморщился. Только закричал и бросился в погоню за юношей.

Старший из братьев – более тяжёлый и выращенный на пиве – не успел остановить саблю. Промахнувшись мимо Гинтовта, он перерубил цепь деревянного подсвечника, низко свисавшего с потолка. Доска с огарками свечей с гулким стуком упала на пол, загрохотав по доскам. Братья бросились в погоню за убегающим. Юноша как молния вскочил на лавку, затем на стол, сбросил с него кружки и миски, а потом, падая на колени, чтобы уйти от удара младшего Рытаровского, ударил быстро, как змея. Лезвие баторовки обманным движением миновало блестящий, зазубренный клинок и располосовало бок Фабиана. Шляхтич споткнулся, упал на лавку, рухнул как срубленный дуб, застонал от боли, сдерживая обильно текущую кровь.

Ахаций бросился к Гинтовту, рыча от ярости сквозь стиснутые зубы. Они сошлись в центре корчмы, среди перевёрнутых лавок. Рубились широкими взмахами сабель. Рытаровский рубанул наотмашь, Гинтовт парировал в грудь, Ахаций в кисть, а молодой шляхтич отскочил и нанёс коварный удар крестом, справа и вверх. Сабли задрожали, зазвенели. Корчмарь из-за стойки и несколько смелых крестьян, выглядывающих из-за окон, наблюдали за схваткой панов.

Рубя, отскакивая и защищаясь от ударов, Гинтовт вывел Рытаровского на середину комнаты, а затем перестал наносить удары и перешёл в глухую оборону. Ахаций удвоил усилия, бил словно молотом по наковальне, напирал на юношу, и тогда...

Одним быстрым движением Гинтовт пнул лежащую на земле лавку и подсунул её под ноги Рытаровскому. Шляхтич споткнулся, замахал руками в воздухе, а затем, когда враг напал на него сбоку, упал на колени, прошаркал по доскам до стола... Он хотел ещё вскочить, но было уже поздно. Гинтовт рубанул его сзади, рассекая колпак, перо, брошку с висюлькой-трясенем и бритую голову... Рытаровский только вскрикнул и упал бездыханным на доски.

Гинтовт остановился посреди комнаты, тяжело дыша, мокрый от пота. Колпачок съехал с его головы, обнажая вороные волосы, связанные в тяжёлую длинную косу, спадающую ниже пояса. Во время боя расстегнулись и лопнули пуговицы жупана, открывая лебединую шею и два гладких, круто поднимающихся холмика, ранее стянутых и сжатых под слоями ткани. Именно они заставили пана Бялоскурского не уйти из корчмы, не пытаться пробиться к двери или развязать путы, а только сидеть на лавке, вглядываясь в пару прелестей, лишь малая часть которых выглянула на свет. Но даже этот маленький кусочек округлостей позволял догадываться, как они выглядят, когда не стянуты тесно скроенным жупаном.

Девушка лишь через мгновение осознала, что Бялоскурский смотрит на неё хищным взглядом. Она быстро прикрыла прелести и прыгнула к столу, за которым раньше сидела вместе с крестьянами. Шляхтич недоверчиво покачал головой.

– Вашмилость, – сказал он голосом, в котором звучало чистое восхищение, – неужели вы демон, дьявольская суккуба, посланная искушать праведных рыцарей?

– Я дьяволица, – рассмеялась панна Гинтовт. – Однако боюсь, что вам не суждено отведать моих прелестей. Единственная любовница, пан Бялоскурский, которая вас ждёт, худа и костлява. Но зато ловко машет косой. Любите ли вы таких?

– Складный из вашмилости гайдучок, тьфу, что я говорю, челядничек из лучшей хоругви! Не думаете ли вы сделать небольшой крюк? Я был бы очень рад приветствовать вас в моей роте.

Она взглянула на Бялоскурского из-под прищуренных век и взвесила в руке окровавленную саблю.

– Дедушка говаривал, что коли конь – то турок, коли мужик – то мазурек, коли шапка – то магерка, а коли сабля – то венгерка, – сказала она, вытирая баторовку о полу жупана младшего Рытаровского. – Так что, ваша милость, не отклоняйтесь от темы, а читайте молитвы, ибо Перемышль уже близко.

– А как ваше имя, панна?

– Для вас пусть я буду Ефросиньей.

– Красивое имя.

– Слишком красивое для тебя, пан Бялоскурский.

– Итак, панна Ефросинья, три тысячи.

– Что такое?

– Три тысячи червонцев за то, чтобы отпустить меня живым. Оплата наличными. Это больше, чем даёт за мою голову староста Красицкий.

– О нет, пан Бялоскурский, – прошептала Ефросинья. – Это мало, слишком мало.

– Четыре?

– У нас, пан Бялоскурский, есть неоплаченные счёты. О чём вы, кажется, запамятовали?

– Что такое? О чём вы говорите, панна?

– Вы ещё вспомните меня, пан Бялоскурский. У нас есть время. А теперь сидите и молчите!

Ондрашкевич, для которого панская ссора в корчме не была чем-то необычным, метнулся в кладовку, чтобы собрать паутину, а затем предпринял обычные в таких забавах меры. Бялоскурский увидел через открытое окно, что к корчме уже направлялся еврей-цирюльник с большой сумкой, слуги начали выносить побитых Рытаровских, а также графа и слугу, а служанки притащили вёдра с водой и принялись тереть доски тряпками, чтобы смыть кровь. В комнате запахло мыльной водой и щёлоком. Панна Гинтовт толкнула подкованным сапогом Колтуна, который нагнулся, чтобы подобрать кошельки Рытаровских.

– Эй, холоп! – сказала она. – Вы, похоже, забылись! Не годится грабить такое добро. Строго наказал бы вас за это дедушка. Седлай коней!

Колтун покивал головой, а затем побежал в конюшню. В обычных обстоятельствах он не был бы так проворен, особенно учитывая, что он, как и Бялоскурский, был весьма удивлён поистине дьявольским превращением Януша Гинтовта в Ефросинью. Однако, когда он вспомнил, как ловко девушка расправилась с Рытаровскими, он согнулся в поклоне и поспешил в конюшню.

– Дедушка говаривал, что кому в дорогу, тому пора, – Ефросинья приблизилась к Бялоскурскому. – А что ваше время, пан Бялоскурский, приближается, это верно. Уже там палач вас ждёт, да и горожане рады бы новое зрелище увидеть.

Разбойник сочно сплюнул. Но это, в сущности, было единственное, что он ещё мог сделать. Он всё ещё видел перед глазами расправу с Рытаровскими и на самом деле не мог поверить, что эта маленькая шляхтянка так быстро справилась с четырьмя рослыми сорвиголовами. Поистине намечалась интересная забава.

***7. Яцек из Яцеков***

Янко-музыкант влетел в корчму Янкеля, споткнулся о порог, чуть не ударился головой о стойку, затем схватился за край массивной доски и выпалил прямо в лицо Янкелю:

– Пан Дыдыньский приехал!

Еврей в очередной раз проклял тот момент, когда Бялоскурский переступил порог его корчмы. Он проклинал его регулярно с тех пор, как весть о поимке в Лютовисках одного из самых печально известных смутьянов Саноцкой земли разлетелась по всем окрестным деревням и усадьбам. С утра его корчма переживала настоящую осаду. Если бы к нему заглянули крестьяне, жаждущие послушать россказни Янко-музыканта, который надувался от важности и хвастался, будто это именно он в одиночку поймал опасного разбойника, еврей потирал бы руки от радости, предвкушая богатую выручку. Увы, в корчму вваливались лишь бездельники с большой дороги, прознавшие о награде, назначенной за Бялоскурского старостой Ежи Красицким, и рассчитывавшие отбить негодяя, чтобы самим доставить его в Красичин или Перемышль. Каждый из них покрикивал на бедного еврея, бряцал сабелькой, а когда Янкель уклонялся от ответов, на него сыпались брань и угрозы, его таскали за пейсы и бороду, грозили побоями, проливали вино, не платили за напитки, опрокидывали столы и лавки. Знай Янкель, какой оборот примет дело, он никогда бы не придумал план поимки Бялоскурского и не поделился бы им с Колтуном. А так у него теперь была одна лишь суматоха. И почти никакого гешефта!

На бледном рассвете, ещё затемно, в корчму ворвались братья Рытаровские со своим компаньоном Роникером, выдающим себя за самозваного графа из Рониславиц, что якобы лежат где-то между Пёсьими Кишками и Бердичевом. Прижав к стенке еврея и Янко, они помчались сломя голову в Чарну, хотя Янкель ловко солгал, будто Бялоскурского похитили неизвестные шляхтичи и увезли прямиком в Балигруд. После Рытаровских нагрянул старый казак Дытько с тремя сыновьями – все мошенники и негодяи, промышлявшие наймом к шляхте для налётов и экзекуций. Во время их визита еврей лишился зуба и половины бороды, а Янко обзавёлся подбитым глазом и надорванными ушами. Затем заскочил с коротким, но отнюдь не дружеским визитом пан Полицкий со своими людьми. Позже явились какие-то оборванцы, величавшие себя товарищами из хоругви кварцяного войска старосты Яна Потоцкого, хотя в глазах Янкеля они не тянули даже на обозных слуг. Однако жест и фантазию имели совсем как гусары – потребовали лучшей еды и напитков, палили из единственного бандолета, чуть не спалили корчму и, разумеется, не заплатили за пиршество. Потом, после полудня, прикатил грузный шляхтич с одним глазом и деревянной ногой; к счастью, он не буянил и никуда не рвался, но пил крепко вместе с компаньонами, горланил, задирал крестьян и девок, а от песен, выкрикиваемых пьяными, охрипшими голосами его людей, у Янкеля распухли уши.

Неудивительно поэтому, что когда Янко-музыкант выкрикнул новость о прибытии очередного гостя, Янкель почувствовал, как земля уходит у него из-под ног. Еврей схватился за бороду и пейсы и застыл воплощением нищеты и отчаяния, пока дверь в гостевую комнату не распахнулась настежь и в ней не появился тот, о ком возвестил музыкант.

Яцек Дыдыньский на вид не выглядел грозно. Он был среднего роста, смуглый, худощавый, гибкий как кот. По высоким, жёстким красным голенищам сафьяновых сапог было видно, что он богатый пан. Дыдыньский был одет в зеленоватый, расшитый жупан из отменного адамашка, застёгнутый на сверкающие пуговицы с петлицами. Поверх жупана он накинул ферезию, подбитую леопардовым мехом, с широким воротником, спускавшимся до середины плеч. На высоко выбритую голову он надвинул рысью шапку, украшенную цаплиным пером и трясенем. На правом предплечье красовался блестящий наруч, покрытый чёрной эмалью, украшенный листьями и звёздочками. Шляхтич был опоясан широким, тяжёлым кольчужным поясом, на котором висели пистолет, пороховница и сабля. Это была не обычная, тяжёлая баторовка или зигмунтовка с коротким, прямым эфесом, а чёрная гусарская сабля, только входившая в моду и поступавшая на вооружение. Её эфес изгибался на одном из концов в дужку, защищавшую тыльную сторону руки и доходившую почти до навершия, а изящные усы опускались на изогнутый клинок. Оправленная в чёрную кожу и серебро сабля имела ещё палюх – небольшую дужку у эфеса для большого пальца. Благодаря этому в руках опытного фехтовальщика она ходила как молния: когда пан Дыдыньский хотел подбрить противника, она наносила сильнейший удар, а если он выбивал саблю из рук гайдука или слуги, то благодаря палюху мгновенно переходил от защиты к ударам от локтя и запястья.

Яцека Дыдыньского, сына стольника саноцкого, называли в Саноцкой земле Яцеком из Яцеков, ибо не знали лучшего мастера сабли, чем он. Дыдыньский занимался ремеслом столь же почтенным, сколь и полезным. Он был заездником, и эта профессия обеспечивала ему уважение во всём уезде.

Яцек из Яцеков был мастером в организации «заездов». Если кто-то из шляхтичей намеревался силой исполнить судебный приговор, защититься от нападения соседа или захватить чужие владения, достаточно было дать знать Дыдыньскому, и пан Яцек быстро являлся по вызову с вооружённой свитой. Дыдыньский был человеком чести и никогда не нарушал данного слова, никогда не предавал работодателя. «Полагайся на Дыдыньского, как на Завишу», – говорили в корчмах Санока. «Дыдыньского на вас надо!» – кричал в гневе сутяга, разрывая в клочья судебную повестку, которую только что прислал ему родственник или сосед-помеха. «Ещё вас Дыдыньский научит!» – предупреждал мелкопоместный шляхтич, выселяемый из имения могущественным магнатом.

Неудивительно, что Янкель задрожал при виде столь знаменитой персоны. Тем временем Яцек из Яцеков подошёл к стойке и пристально посмотрел на еврея зеленоватыми глазами. Еврей мигом наполнил лучший кубок билгорайским пивом. Дыдыньский взял его, отпил немного, а затем отставил.

– А что же это ясновельможный пан изволит? – начал Янкель. – Чем это я, простой еврей, могу услужить вашей милости?

– Хотел бы я с тобой поговорить, Янкель, – улыбнулся Дыдыньский. – А как ты думаешь, о чём могут беседовать еврей и шляхтич? Об аренде? О деньгах? О займе и ростовщических процентах? О красоте девушек в Лютовисках? Признаюсь, я уже проверил – они красивы. Прости, но я выберу другую тему. Например, почтенный Янкель, был ли в твоей корчме недавно какой-нибудь знатный шляхтич? И не звали ли его, случайно, Бялоскурским?

Еврей огляделся вокруг, ища поддержки.

– Если бы я всё знал, то я бы, ой-вей, раввином бы стал. Ну, я скажу, всё скажу. Был тут ясновельможный пан Бялоскурский. И он с другим шляхтичем уехал. А я не знаю, кто это был. Потому что я нос не сую между дверей. Потому что мне нет дела до дел великих панов. Потому что я только чтобы деньги брать. Хорошие деньги. Талер, червонец, голландский талер, серебряный грош. А уж тернаров и обрезанных шелягов не беру. Потому что видите, пан шляхтич, одни хорошие деньги делают другие хорошие деньги. А когда вместе две денежки, то из них делается третья.

– Вот и мне как раз о деньгах речь. – Дыдыньский положил на стойку кошель величиной со сноп пшеницы. – Эта калита вот-вот не лопнет. Пора ей облегчиться и в другой карман золото пересыпать.

– Ой-вей, я это вижу, – сказал Янкель с грустью, и даже слезинка появилась у него в глазу. – Но я ничего посоветовать не могу. Я ничего не знаю. И – скажу больше – я не хочу ничего знать.

– Жаль. – Дыдыньский не выглядел разочарованным. – А может, помнишь, кем был тот шляхтич, что уехал с Бялоскурским?

– Молодой панич, бедно одетый. Я его никогда не видел.

– Дыдыньский прикрыл глаза. А потом весело улыбнулся, отставил недопитое пиво и бросил на стойку серебряный грош.

– Прощай, Янкель.

Шляхтич быстро направился к двери. Он шёл, позвякивая шпорами, постукивая железными подковками сапог о деревянные, нестроганые доски пола.

– Пан Дыдыньский!

Яцек остановился. Он хорошо знал, кто его окликнул. Едва войдя в корчму, он сразу заметил среди гостей знакомую рожу.

С лавки у стены встал огромный шляхтич в малиновом жупане. У незнакомца не было левого глаза – он закрывал глазницу кожаной повязкой. Когда он шёл к Дыдыньскому, доски глухо гудели под его тяжестью. У шляхтича не было правой ноги – под коленом она заканчивалась деревянной култышкой. Для равновесия мужчина опирался на длинный бердыш. Когда он шёл, посетители в корчме уступали ему дорогу. Достаточно было взглянуть на его безобразную рожу, украшенную шрамами, на усищи и короткую чёрную бороду, чтобы убедиться, что это был не первый встречный шляхтич из захолустья. Его товарищи – усатые рубаки с высоко выбритыми чубами, исподлобья смотрели на Дыдыньского.

Огромный шляхтич положил свою громадную ладонь на плечо пана Яцека. Медленно, но решительно развернул его к себе. Однако Дыдыньский не схватился за саблю.

– Турки мне глаз выбили, – сказал безногий шляхтич, – так что я плохо вижу. Но ты, пан Дыдыньский, не слепой! Неужто меня так легко не заметить, пан-братец? Разве я совсем незаметен?

– Здравствуйте, пан Кулас.

– А куда это путь держишь? В бордель? В корчму? – спрашивал Якуб Хулевич, известный во всей Саноцкой земле как Кулас, что значит «Костыль» или «Хромой».

– Неважно. Но уверяю вас, что нам не по пути.

– Жаль, пан-братец, ведь в той службе, где я состою, высоко можно подняться.

– Полагаю, что даже слишком высоко.

– Мой господин, староста зыгвульский, зол на тебя, пан Яцек, – сказал Кулас. – Печалится он и меланхолия его одолевает, что ты отказался ему служить и к Корняктам примкнул, к его заклятым врагам.

– Eques polonus sum. Я свободен и служу тому, кому пожелаю!

– И что ты нашей компанией пренебрег, – продолжал Кулас чуть громче. – Что, мы для тебя дурно пахнем, пан Дыдыньский? А может, тебе не по нраву наш мед и пиво?

– Коли не по нраву, то горло перережем, – захохотал Паментовский, один из приспешников Куласа, известный во всем Русском воеводстве забияка, приговоренный к изгнанию за налёт, убийство двух шляхтичей и участие в рокоше воеводы Зебжидовского.

– Пан Дыдыньский уже к дворцам привык, – сказал он. – И к тому, чтобы девок в белоснежной постели ублажать. И манеры у него уже господские, а не наши, простые, шляхетские.

– У него уже французская болезнь на лице проступает, – пискляво произнес маленький и худой Писарский, сверля Дыдыньского гноящимися глазками. – Это от содомии с иноземцами.

Кулас одним взмахом руки утихомирил и этого приспешника.

– У меня к тебе два дела, пан-брат. Primo, пан староста зыгвульский велел тебе передать, пан Дыдыньский, чтобы ты ему в замке в Ланьцуте и во владениях на глаза не показывался. Потому как если он тебя увидит, то его снова меланхолия настигнет. Меланхолия – страшный недуг. А меланхолию старосты ничто лучше не исцелит, чем весть о том, что некий молодой панок по имени Яцек из Яцеков получил саблей по голове от пана Куласа. А у пана Куласа не было иного выхода, ведь он старосте зыгвульскому служит, а что пан прикажет – слуга должен исполнить!

– Это уже все?

– Погоди, я еще не закончил. Secundo, пан Дыдыньский, советую тебе оставить в покое Бялоскурского и того юнца, что при нем вьется.

– Того простолюдина, что с ним вместе выехал из Лютовиск? А зачем он тебе, пан-брат?

– Это уже не твоего ума дело. Я только по-доброму советую и по-дружески предупреждаю, чтобы ты, ваша милость, оставил их в покое.

– Посмотрим. Но благодарю за добрый совет.

– Тогда с Богом, пан-брат.

Кулас отвернулся и подошел к своим. С размаху ударил по уху Писарского, который нагло занял его место на лавке. Шляхтич рухнул на пол, опрокинув кружки, и получил еще несколько тумаков.

***8. Отряд Дыдыньского***

Перед корчмой в Лютовисках было полно людей. Ярмарка была в самом разгаре, вокруг лавок сновали люди, рёв скота, пригнанного на торг, смешивался с гоготом гусей и визгом свиней, а возницы осыпали проклятиями крестьян, неохотно уступавших дорогу. Дыдыньский направился к поленницам дров, возле которых собралась порядочная толпа из крестьян, цыган, русинов и нескольких погорян. Все склонились над бочкой, где шла игра в чёт и нечет. Толстый, немолодой казак с румяным лицом, бритой головой и оселедцем, закрученным вокруг уха, азартно соревновался с худым и стройным шабатником из-за венгерской границы.

– Каждый удаче поможет, каждый сегодня выиграть сможет! – воскликнул казак. – Почтенный горожанин, что кому написано, того не минует! Бросай, мужик, кости! Что выбираешь?

Шабатник с размахом бросил кости на бочку. Раздался стук, казак громко захохотал, и ему вторили окружающие крестьяне.

– Нечет! Нечет! – закричал казак. – Две пятёрки!

*Не пускайся, брат, в путь далёкий,*

*Ждёт тебя там удел нелёгкий,*

*Слуга немало украдёт,*

*И сам ты сгинешь без забот!*

– пропел он и сгрёб в шапку кучу медяков. Шабатник смотрел на него косо, усы у него встопорщились от злости, но казак мало обращал на это внимания. Он оглядел толпу и замахал рукой крестьянам.

– Эй, кто ещё?! Кто ещё?! Давайте, испытайте удачу. Кому фортуна написана?! А о чём это я говорил раньше? О взгляде женском! Знал я одну госпожу, что, выглянув из окна своего замка во двор, увидела рослого мужа, очень статного сложения. Когда он справлял нужду на стену того замка, ей пришла охота отведать такого пригожего и знатного сложения, и вот, опасаясь оскорбить промедлением своё желание, велела ему через пажа встретиться с ней в тайной аллее парка, куда она и отправилась. И там она с ним так усердно любилась, что живот у неё, словно барабан, вырос. Вот к чему послужил взгляд у той госпожи! А кем же был тот знатный муж? Я сам собственной персоной!

– Савилла! – прошипел Дыдыньский. Казак схватил кости, пинком перевернул бочку под ноги удивлённым крестьянам и в три прыжка добрался до шляхтича.

– Я здесь, здесь, – выдохнул он, вытирая пот со лба. – Что нужно вашей милости?

– Ты плут и мошенник, тёртый калач, – сказал Яцек из Яцеков. – Так что сделай фокус с конём. Мне нужно узнать, куда поехал Бялоскурский. Уж кто-кто, а конюх из корчмы нам всё выложит.

– В мгновение ока!

Казак подскочил к коню Яцека Дыдыньского. Ловко подсунул кошелёк под седло так, чтобы из-под чепрака выглядывал только ремешок. Дыдыньский наблюдал за этим краем глаза. Он видел, как казак подвёл коня к корчме. Крикнул конюху. Вскоре из корчмы выбежал низкорослый мужичок в меховой шапке. Савилла отдал ему поводья коня, отругал и отошёл в сторону. Мужичок завёл коня в конюшню.

Дыдыньский подошёл к коновязи. У корыта на богато украшенном гусарском седле восседал немолодой мужчина с лицом, изборождённым шрамами, и длинными седыми усами. Облачён он был в добротный суконный жупан и делию. На его широком поясе висели два пистолета. Он склонился над самопалом, который держал в руках, и начищал тряпицей длинный, изящный ствол. Оружие в руках мужчины было необычным. Длиной чуть менее двух локтей, слегка расширяющееся к дулу, оно имело странное утолщение и металлический цилиндр между ложем и стволом. Это был не аркебуз и не бандолет. Не фитильный петриналь, не рушница и не полумушкет. Загадочное оружие не походило также на карабин, чешинку или гулдинку, его никак нельзя было сравнить с гаковницей. Сие было творение истинного мастера огнестрельного оружия, единственный такой экземпляр в Саноцкой земле – уникальный шестизарядный револьвер. Оружие с кремнёвым замком и вращающимся барабаном, вмещающим шесть зарядов пороха и пуль.

– Миклуш!

Слуга вскочил в мгновение ока. Отточенным движением опустил револьвер. Было видно, что он служил в войске.

– Слушаюсь!

– Идём.

Холоп послушно двинулся за Дыдыньским. К ним присоединился ещё Савилла. Яцек направился к корчме. Быстро переступил порог, прошёл через длинные сени, затем осторожно заглянул в стойло. Мигом отыскал взглядом своего коня – пегий жеребец был уже расседлан, а конюх суетился подле скакуна.

Кивнул Миклушу и Савилле. Они вскочили в стойло, настигли конюха.

– Попался, ворюга! – прошипел Дыдыньский, ибо нигде не видел кошеля, который Савилла подложил под седло. – А где мошна? Где злато?

Мужик оцепенел, пал на колени, съёжился, будто уменьшился.

– Помилуйте, ваша милость, – заскулил он. – Не виновен я! Верну, всё верну.

– Вернёшь, да только паршивую жизнь свою, – пробурчал Савилла. – Палач правду из тебя вытянет. Ведомо ли тебе, холоп, что за воровство бывает?

– Руку отсекают и клеймо выжигают, – бросил Миклуш.

– А коли уже что-то крал прежде, – молвил Дыдыньский, – так прямиком на виселицу отправишься. Кайся в грехах, хам, ибо скоро с костлявой спляшешь.

Мужик заскулил, сжался в комок.

– Злато верни!

Конюх покорно извлёк из-за пазухи тощий кошель.

– Дарую тебе жизнь, хам, – процедил Дыдыньский, – коли поведаешь мне, что здесь вчера творилось и куда отбыл пан Бялоскурский.

– Поведаю, всё поведаю, ваша милость, – с готовностью согласился мужик. – Вчера в полдень пана Бялоскурского застали крестьяне в нашей корчме. Получил обухом по темени и в оковы попал. Они, Колтун, стало быть, Ивашко и ещё молодой шляхтич, что вызвался, отправились в Перемышль с паном Бялоскурским, дабы к старосте его доставить. На Чарну подались. Нынче, верно, уже за Чарной. А далее на Устшики держать путь намеревались и на Перемышль.

Дыдыньский на миг задумался.

– Повезло тебе, хам, – фыркнул он. – Даже не ведаешь, сколь сильно. Седлай коня! Господа, в путь!

***9. Кто дорогу сокращает, тот судьбу свою ломает***

Сразу за Чарной они поскакали галопом, не давая даже минуты отдыха лошадям. Перед ними был плоский, лесистый хребет Жукова, напоминающий ровный, насыпанный человеческими руками вал, который тянулся от Ухерцев до самого Днестра. Весеннее, тёплое солнце с каждым днём поднималось всё выше, но леса у подножия холмов ещё не покрылись зеленью. Они выделялись серыми и тёмными пятнами на фоне голых, мрачных вершин и возвышенностей. Грязь брызгала из-под конских копыт. С полей стекали ручейки воды, питая лужи у дороги, переливаясь через них и стекая вниз по долинам гор, до Чёрного Потока и до Сана.

До Жукова они не доехали. Когда добрались до Жлобка, и вдали показалась чёрная крыша старой церквушки Рождества Пресвятой Богородицы, Ефросинья остановила коня.

– Не поедем через Устшики, – бросила она. – Даже бабы на ярмарках знают, что в Лютовисках поймали Бялоскурского. В Устшиках сидит Тарнавский, а в Телеснице Ошваровой – паны Росинские. Идём волку прямо в пасть.

– Ваша милость, – заныл Колтун, – да мы же целый день потеряем...

– Обойдём Телесницу с запада. Пойдём на Ральске и Хревт, переправимся через Сан, потом поедем через горы и вернёмся на Хочев.

– Вы, пани, смелая, – причитал мужик. – А в Ральском... Туда страшно ехать, потому что под горами тревоги...

– Какие тревоги?

– Там с незапамятных времён на трактах, – прошептал Колтун, – одинокие люди пропадают. Чёрт живёт в лесах. Игрища устраивает, а ведьмы на мётлах летают. А в Творыльном и Хрывом лесные люди живут, дикие и страшные. Кто бы хотел туда ехать, над тем содомию творят, а даже, – голос Колтуна задрожал, – оскопить могут и ещё худшие вещи сделать!

– Какие вещи? Говори по-человечески! – заинтересовался Бялоскурский.

– В задницу железные гвозди вбивают, – прошептал мужик и перекрестился.

– Не неси чушь, мужик. Какие ведьмы на мётлах? Какие черти? Какие содомии? Где ты это слышал?

Колтун побледнел и перекрестился.

– Если боишься, то айда в Лютовиски! – проворчала панна. – Мне трусы не нужны!

– Как же так? – пробормотал Колтун. – Ведь это я изгнанника взял... Награда пропадёт.

Панночка без слова свернула налево, на первую полевую дорожку. Они ехали тропами и полями вдоль Жукова. Узкие, наполовину стёртые пути вели их на Соколову Волю, Росолин и Панищев. Был уже поздний полдень, когда они обошли с запада Остре и добрались до Поляны. Промчались через деревню, так что куры с кудахтаньем разбегались из-под копыт, и погнали в сторону Ральского – маленькой деревушки, которая лежала сразу за долиной Чёрного Потока; в месте, где Сан переливался через скальные пороги между двумя цепями гор – Полониной и Отрытом. Отрыт был лесистый, полого спускающийся к реке. Полонина Ветлинская возвышалась над ним – больше и круче. Пологие склоны, покрытые буковыми лесами, тянулись далеко вверх, до самого неба, ощетинившись на краях зубцами немногочисленных скал, покрытые полонинами и выцветшими лугами. От них спускались величественные и грозные гряды острых хребтов, идущих вниз, в сторону Дверника, Крывого и Насичного.

Перед Ральским Сан яростно пенился на валунах и каменных порогах, а затем, вырвавшись из-за стремительных склонов Полонины и Отрыта, уже спокойно тёк, описывая небольшие полукруги среди каменистых отмелей и мелководий.

Солнце скрылось за облаками, когда они остановились у брода. Бялоскурский беспокойно оглядывался, не обращая внимания на боль в посиневших запястьях, вывернутых назад суставах и ногах. Ему было до жути любопытно, когда из мрачных буковых лесов и таинственных оврагов, простирающихся по северной стороне гор, появятся бесы, о которых упоминал Колтун. Бялоскурский грустно улыбался. Как обычно, однако, не бесы и черти оказались самой большой угрозой для него.

– Колтун, – решительно сказала Ефросинья, когда они остановились на мостике, – я снова передумала. Мы не едем в Хочев. Двинемся на Терку, Цисну и Балигруд.

– Как же так?! – воскликнул Колтун. – Ведь мы в Перемышль идём, а не в Венгрию! Милостивая пани, вы предпочитаете шабаши, разбойников и чертей золоту, что в городе ждёт?!

– Бабушка, что меня растила, говаривала, что кто дорогу сокращает, тот судьбу свою ломает, – пробормотала панна Гинтовт. – Но у нас нет другого выхода.

– А где дедушка?! – захохотал Бялоскурский. – Был бы у него какой-нибудь добрый совет в этой беде? А может, от страха жилка бы у него лопнула?

– А, к чёрту дедов и бабок! – проворчала Ефросинья. Одним быстрым движением она выхватила пистолет из кобуры, подбросила, прицелилась и выстрелила Колтуну прямо в лоб!

Лошади заржали от грохота выстрела. Сила пули отбросила мужика назад. Колтун упал с седла, рухнул между валунами, полетел в бурлящую воду, в водовороты и омуты. Панна повернулась к Бялоскурскому. Изгнанник стоял ошеломлённый, но даже если бы хотел, не мог убежать. Ноги у него были связаны под брюхом лошади, а руки – сзади, за спиной. Разве что поводья зубами схватить.

Панна посмотрела вниз, не выплюнула ли вода тело Колтуна. Спрятала пистолет, презрительно сплюнула, а потом схватила поводья коня разбойника.

– Думаю, вашей милости хватило этого хама.

– Малая потеря, короткая печаль, – прохрипел Бялоскурский. Однако его голос утратил обычную уверенность. Шляхтич закашлялся, а холодный пот потёк у него вдоль спины. В последний раз он вспотел от страха, когда князь воевода Острожский застал его у своей любовницы. Хотя нет, пожалуй, он действительно испугался лет десять назад, когда его хотели изрубить в Судовой Вишне за разгон сеймика.

– Теперь поедем сами, – хрипло сказала панна. – Поедем, но совсем не туда, куда бы ты хотел попасть. Говорю тебе, молись, пан Бялоскурский. Молись и кайся в грехах.

Она подогнала коня. Они переехали через брод и двинулись по узкой тропинке вдоль левого берега Сана прямо на Хочев.

Бялоскурский, пожалуй, впервые в жизни задумался, не начать ли ему читать «Богородице Дево». Однако воздержался. Ещё было для этого слишком рано.

***10. Гадание Савиллы***

– Были они здесь, пан ясный, провалиться мне на месте, коли вру! – Ондрашкевич бил себя в грудь. – Двое мужиков: юнец молодой и старый седой хрыч, что кровью харкал от чахотки. Устроили мне в корчме дебош, паршивцы, с панами Рытаровскими. Слугу их прикончили, а потом пана графа... Ну, как его... Пана Симонта из Рокеров!

– А, верно, графа Эйсымонта-Роникера, – пробурчал Дыдыньский.

– Ей-богу, точно так его и звали. Рубились они часа два, а потом одолел молодой шляхтич и тотчас уехал. Мужика, что с ним был и которого в драке подстрелили, велел оставить в корчме, но едва мы ему рану перевязали, как он уже сбежал, собачий сын, и даже еврею ломаного гроша за уход не оставил!

– Так значит, уехало их только трое? Юный Гинтовт, Бялоскурский и еще один мужик?

– Какой там юный, – прошептал армянин. – Сударь, тут содомский грех был. Когда они с панами Рытаровскими бились, шапка у него слетела, а под ней косы и венок скрывались. Девица это в мужском обличье. Тьфу, что я говорю, девица! Дьяволица, Лукавым посланная на искушение рода человеческого! Ваша милость, она в корчме одна всех Рытаровских порубила, из-под сабли от них ускользала. Колдовство тут было, не иначе! Я уж подумывал, не послать ли весточку в Жешув, отцам доминиканцам, чтобы разузнали, не в сговоре ли она с нечистым. А коли не с нечистым, то с духами какими. А коли не с духами, то уж точно с евреями-ростовщиками из Леска. А если даже не с евреями, то с Хаимом Каббалистом, что вторую корчму тут рядом поставил и дела мне портит, да и чернокнижием наверняка промышляет! Эх, будь это в Речи Посполитой или в другой не столь дикой стране, мигом бы я ему костер разжег.

– А Бялоскурский? – прервал его Дыдыньский. – Здоров и цел вышел из драки?

– Бялоскурский даже не пискнул, потому что связанный на лавке лежал, как, не к ночи будь помянут, тот полугусь, что тут на потолке висит.

– Куда они поехали?

– На север, наверное, в Перемышль, потому что там суды городские и палач, лютый до безобразия на своевольников. Да и пан староста гультяям не спускает.

Дыдыньский бросил корчмарю королевский десятигрошевик. Повернулся к Савилле и Миклушу.

– Что вы об этом думаете?

– На Перемышль двинулся, – пробурчал Миклуш. – Догоним негодяя в Устшиках, а если не там, то за Кросценко, на тракте.

Савилла покачал головой.

– Во всех корчмах и в окрестных деревнях только и говорят о том, как какая-то девица потрепала Рытаровских и убила самого графа Эйсымонта, у которого от водки разум в голове помутился. Если бы это был какой-то неизвестный простолюдин, может, его и оставили бы в покое, но раз это женщина... Уж кто-то, но братья Росинские и их батька не упустили бы случая скрестить с ней сабли. Поэтому я думаю, что девица поехала другой дорогой.

– И еще больше рисковала? В горах есть разбойники и ведьмы.

– Без риска нет и прибытка.

– Так как нам ехать? На Перемышль? На Ральске?

– На пиво! – гаркнул Миклуш, ставя на дубовый стол три оловянных кружки, полных пенистого напитка.

Выпили. Савилла вынул из кошелька странную шестиугольную монету с дыркой посередине. В свете свечей на ней заблестели завитушки и знаки. Казак бросил монету на стол, поставил ее, закрутил, аж зашуршало, и запел:

От предков мудрых я слыхал,

Что водка - зелье злое.

Не одного она сгубила,

Забрав с собой в могилу!

– Если решка, то поедем на Перемышль! – воскликнул он. – А если король, то на Ральске.

Не очень понятно было, чем отличалась решка от короля, потому что на обеих сторонах монеты были похожие значки. Однако когда монета звякнула и упала на стол, Савилла улыбнулся от уха до уха и воскликнул:

– На Ральске!

Миклуш и Дыдыньский схватились за кружки.

– Ну, за Ральске, – провозгласил Дыдыньский и одним махом осушил сосуд наполовину.

***11. Бялоскурскому страшно***

После расставания с Колтуном Ефросинья больше не спешила. Уже почти вечерело, а они всё ещё не добрались до Хочева. Они остановились на привал над Саном, на каменистом холме у реки. Шляхтянка спешилась, перерезала верёвки на ногах Бялоскурского и столь резко столкнула его с лошади, что шляхтич рухнул на камни. Девушка расседлала коней и отпустила их пощипать засохшую траву, а сама, схватив ольстры с пистолетами и какую-то набитую сумку, спрыгнула по валунам на берег реки. Бялоскурский видел, как она зачерпнула рукой воду, а затем... То, что произошло потом, заставило его содрогнуться. Панна Ефросинья Гинтовт сбросила жупан, рубаху и начала омываться в реке.

Изгнанник смотрел. Он жадно разглядывал её округлости, напоминавшие купола прекраснейшей церкви Бескид, а более всего то, чего он не мог разглядеть вблизи, так как лежал слишком далеко – прелестную рощицу, скрывающую источник любви, готовый напоить жаждущего коника...

Чёрт побери!

Внезапно Бялоскурский замер. Краем глаза он заметил, что из вьюков, небрежно брошенных на камни в нескольких шагах от него, торчала рукоять его сабли. Разбойник с трудом поднялся. Медленно, осторожно он двигался вправо, не сводя глаз с силуэта панны Гинтовт там, внизу. Ещё мгновение, ещё чуть-чуть... Он добрался до сабли. Опустился возле неё и связанными за спиной руками схватил рукоять.

Вдруг в лёгких у него захрипело, он поперхнулся слюной и кровью, сердце забилось неровно. Чёрт бы всё побрал, только кашля сейчас не хватало, чтобы привлечь к себе внимание. С усилием он подавил дыхание, вытащил клинок наполовину, прислонил к нему путы и начал пилить их, двигая руками вверх-вниз.

Он издал сдавленный хрип, так как в лёгких вновь громко забулькало. Проклятая чахотка настигла его восемь лет назад, в походе на Валахию. Он боролся с ней, притворялся, что ничего серьёзного не происходит, но прекрасно понимал, что из-за этих проклятых лёгких ему когда-нибудь придётся станцевать со смертью. Однако не сегодня, не сейчас.

Внизу, на берегу реки, Ефросинья замерла. Она стояла и прислушивалась. Чёрные пятна закружились перед глазами Бялоскурского. Он с напряжением ждал любого движения панны Гинтовт. Однако... шляхтянка не обернулась.

Путы ослабли, поддались!

Ещё мгновение, ещё один миг...

Ефросинья вернулась к умыванию, отбросила назад длинные, чёрные, мокрые волосы...

Путы спали. Бялоскурский отпрыгнул в сторону, схватил свою саблю. Обычно такое оружие называли зигмунтовками, в честь Его Королевского Величества Сигизмунда III, однако пан Мацей, бывший рокошанин, защитник свобод и привилегий, не любил монарха, который перенёс столицу Речи Посполитой из великолепного Кракова в захолустную мазовецкую Варшаву. Поэтому вместо зигмунтовки он называл свою саблю рокошанкой.

Впрочем, сейчас это не имело большого значения. Пан Бялоскурский стоял, вглядываясь в Ефросинью, которая на берегу Сана обливалась водой. Изгнанник растёр онемевшие ладони, сплюнул, раскашлялся, а потом двинулся назад. Он повернулся, медленно вошёл между деревьями и... закричал от ужаса!

Ефросинья стояла перед ним!

Одна!

С саблей!

В делии!

Это была уже не панна из захолустной глуши, которая в мужском обличии явилась в Лютовиски, чтобы отвезти Бялоскурского к старосте. Ефросинья изменилась, стала внушительнее... На ней был не выцветший, коротковатый жупанчик, а малиновая делия, обшитая чёрным волчьим мехом, рысья шапка, просторный красноватый жупан, подпоясанный узорчатым поясом.

Панна вскрикнула предостерегающе и нанесла удар. Бялоскурский едва успел парировать, но сила удара отбросила его назад. Не успел он поднять оружие, как Ефросинья атаковала снова: мощным движением она отбила клинок Бялоскурского в сторону, повалила шляхтича на землю, ударила плашмя и выбила саблю из его руки. Клинок, описав дугу в воздухе, со свистом вонзился в ствол векового бука, где и закачался. Бялоскурский попытался отпрянуть, но не успел. Девушка, стремительная как змея, крутанулась словно турецкая танцовщица, замахнулась саблей, но не ударила острием! Вместо этого она со всей силы обрушила на голову Бялоскурского плоскую сторону клинка. Шляхтич пошатнулся, схватил Ефросинью за воротник, но в то же мгновение панна Гинтовт с размаху ударила его в грудь и добавила пинком.

Бялоскурский рухнул на бок, издав хриплый стон, и сплюнул кровью. Шляхтянка подскочила ближе и хладнокровно пнула его в живот. Изгнанник попытался подняться, но тут же получил удар по лицу, снова свалился и перекатился. Очередной пинок отбросил его на камни. Бялоскурский получил удар плашмя по голове, выплюнул два зуба и перевернулся на бок. Тут женщина снова пнула его в бок — аж хрустнули ребра. Разбойник застонал, а потом завыл от боли. Она встала над ним — гордая, бледная, с гневом, пылающим в прекрасных черных глазах.

– Помнишь меня?! – прошипела она, словно гарпия. – Помнишь, сукин сын, стихоплёт за три гроша? Помнишь, как увёз меня из дома, как нашёптывал нежности? Называл великой любовью?! А потом бросил, как обычную потаскуху, как паршивую девку на тракте под Львовом.

Бялоскурский задрожал. Господи Иисусе! Да... Это была она... Шляхетская дочь, которую он обольстил... Когда? И которая это была? К чёрту, Бялоскурский никогда не забивал себе этим голову. За свою жизнь он лишил невинности стольких женщин, что не мог сосчитать — была ли это Сонка из-под Галича, панна София из сенаторского рода, супруга кастеляна или воеводы, или же обычная красотка-мещанка из Санока?

– Про... прости, ваша милость, – солгал он сквозь разбитые губы. – Я не... хотел. Я тебя действительно любил... Я был глу...

Она набросилась на него быстрее, чем он успел съёжиться между камнями. Два точных пинка и удар плашмя саблей выбили из него дух.

– Семь лет, сукин сын! Семь лет я ждала момента, когда смогу забрать тебя туда, где ты искупишь все свои грехи! Я потеряла всё, продала даже собственную душу, лишь бы отплатить тебе той же монетой.

Ефросинья приставила острие сабли к шее шляхтича, прижала так сильно, что Бялоскурский не мог даже шевельнуться.

– Тебе ещё многому нужно научиться, пан Бялоскурский. Позволь, милостивый государь, я буду твоим наставником во время нашего короткого путешествия. Вот первый урок. Так выглядит страх. Отведай его, брат, ибо там, куда ты направляешься, его будет в избытке.

– Куда мы едем? – прохрипел Бялоскурский. – В ад?

– Теперь ты поедешь без оков. Однако не пытайся бежать. Сделаешь шаг вправо или влево, и я переломаю тебе все кости. Я умею делать это так, чтобы ты мог двигаться только ползком, как червь или медяница, но оставался живым. Ибо, клянусь, я довезу тебя живым туда, где ты заплатишь за все свои грехи!

Бялоскурский даже не помыслил о том, чтобы ещё раз попытаться сбежать. Он боялся, боялся так, как никогда в жизни. А страх был чувством почти неизвестным его душе.

И ещё одно чрезвычайно интриговало его. Почему Ефросинья не носила крестика? Неужели она и впрямь продала душу дьяволу?

***12. Колтун***

Они въехали в брод. Лошади ржали, с грохотом ударяя копытами о мокрые камни. Их ржание перекрывало шум воды, падающей со скальных порогов и разбивающейся на брызги о камни внизу. Дыдыньский ехал первым, за ним гайдук Миклуш с вынутым из кобуры револьвером. Замыкал шествие Савилла. Они внимательно оглядывались по сторонам. В этом месте часто устраивали засады разбойники и прочий сброд.

– Ваша милость! – крикнул Савилла. – Человек какой-то на скалах внизу!

Они осадили лошадей. Дыдыньский посмотрел вниз, прищурился, пытаясь разглядеть среди водяных брызг человеческую фигуру.

– Где ты человека увидел, мужик? – сказал Миклуш. – Горилка тебе глаза застила?

– Там он, вон, видите, карабкается из воды. Живой он, а я думал, что это труп. Или утопленник.

– Проверим.

Они доехали до конца брода, свернули под деревья, спустились вниз, объезжая мелкие разливы и завалы веток. Выехали на каменистый берег, некоторое время двигались между огромными валунами и острыми скалами. Савилла указал направление. И впрямь! Вскоре они заметили какой-то движущийся силуэт во впадине между двумя скальными плитами. Подъехав ближе, они услышали тихий стон.

Между камнями барахтался мужик в рваной свитке. У него была разбита голова, из которой сочилась кровь. Он дрожал от холода и пытался встать. Получалось у него плохо – ноги скользили по мокрой скале, руки не находили опоры.

– Помогите! – простонал он.

Дыдыньский кивнул. Савилла и Миклуш спрыгнули с лошадей, схватили раненого под руки, поставили на ноги, подтащили к своему господину. Мужик громко застонал.

– Кто ты?

– Я Колтун, панок... Колтун из Лютовиск. Чуть не убили, в голову стреляли...

– Кто? Когда?

Мужик рыдал, дрожа от холода. Савилла молча достал из вьюков корпию, пожевал кусок лепешки, а затем осмотрел рану на голове незнакомца. Она была болезненной, но поверхностной. В мужика стреляли с близкого расстояния – кожа вокруг ранения была обожжена порохом. Миклуш придержал Колтуна, а старый казак быстро промыл водкой ссадину от пули. Колтун взвыл, затрясся, а потом обессилел, обмяк и чуть не потерял сознание. Савилла быстро перевязал ему голову корпией, а Миклуш поднес бурдюк с водкой. Мужик отхлебнул немного, закашлялся, сплюнул.

– Говори, как было!

– Не бейте, господин, я не виноват, – зарыдал Колтун. – Это началось в Лютовисках. Янкель-жид – вот всему злу зачинщик! Он первый ударил обухом по голове ясновельможного пана Бялоскурского. А потом велел отвезти его к старосте, потому что награду хотел получить. Вот и я поехал – простите и не бейте – потому что думал, что еще мужики по дороге шляхтича убьют, и виселица для нас будет, а не золото. Не бейте! – закричал он. – Я ничего плохого пану шляхтичу не сделал.

– Да говори по-человечески, хам! – прошипел Дыдынский. – И не трясись, как осиновый лист. Мы не люди Бялоскурского.

– Так вы не из роты Бялоскурского? – обрадовался Колтун. – Правду говорите, благородный господин?

– Чистую правду и только правду, – сказал Савилла. – Смотри, мужик, это пан Яцек Дыдыньский, о котором, хамская душа, ты должен был слышать – голову на отсечение даю.

Мужик сложил руки, как для молитвы. И как пристало черной, хамской душе, упал перед Дыдыньским на колени.

– Помилуйте, господин пресветлый! Я расскажу, как было... Никто не хотел изгнанника к старосте отвозить. Ну и вызвался панич Гинтовт. Но это все равно вина Янкеля! Вот я и поехал с паном. А потом всё у нас пошло наперекосяк. Во время привала на Остром кто-то убил мужика Горилку. Так мы и убежали в Чарную. А там, в корчме, встретили мы шляхтичей, которые хотели пленника у нас отобрать и самим награду получить. А это все равно вина Янкеля! Пан Гинтовт страшно их порубил. А Ивашку подстрелили – да он Янкелю задаст, когда на ноги встанет!

– А что потом?

– Потом, пан золотой, оказалось, что не пан это Гинтовт, а панна, что в мужском одеянии верхом скакала. Но я промолчал, ничего не сказал, потому что страшная была, и думал – что-то не так скажу, так моя голова слетит. Так мы на Устшики двинулись, но панна Гинтовт, волчица проклятая, велела поворачивать на Поляну. Проехали мы деревушку, и тут, вот, на этом мосту, там, на середине, в голову мне выстрелила. Ой, за это я Янкелю пейсы выдеру! А сама панна с Бялоскурским уехала.

– Куда?

– Я видел, я видел, панок, они на Хочев пошли, дорожкой вдоль Сана.

– На Хочев? – удивился Дыдынский. – Проклятье, им несдобровать!

Опускались сумерки, черный вал дикого Отрыта, заросшего одичавшими буковыми лесами, четко вырисовывался на фоне пылающего алым неба. За ним возвышалась Полонина, мощная, грозная, далекая и неизведанная, потому что в лесах на ее склонах и близко к самим вершинам никто не жил, только гнездились птицы и дикие звери.

– Пан милостивый, – заскулил Колтун, – эта шляхтянка – ведьма во плоти. Она меня задушит, если я не вернусь домой...

– Держи. – Дыдыньский бросил ему дукат. – Для тебя это конец приключений! Беги в свою деревню и больше не показывайся.

Колтун поклонился в пояс. Савилла накинул ему на плечи старое одеяло и похлопал по спине. Мужик скривился, когда заболела голова, побежал трусцой в сторону дороги. Дыдыньский посмотрел ему вслед, а потом долго глядел на далекие горы.

– Милостивый пан, – осмелился сказать Миклуш, – что в этом Хочеве сидит, что вы так обеспокоились? Дьявол?

– Боюсь, Миклуш, что сама госпожа смерть!

***13. Стычка в Хочеве***

Хочев гудел как улей. Несмотря на ранний час, улицы были забиты крестьянскими телегами, шляхетскими колясками и повозками всех мастей – от простых бричек до роскошных карет. Повсюду сновали толпы шляхты и челяди. Паны-братья в жупанах, делиях, гермаках и бекешах прохаживались под навесами домов, попивали, рассуждали и, как водится, затевали ссоры.

Бялоскурский и Ефросинья влетели в эту суматоху как пробка в бутылку венгерского – едва переступив околицу деревни, они уже не могли повернуть назад, подталкиваемые сзади людским потоком. Пришлось медленно продвигаться среди ржания лошадей, криков, свиста кнутов, окриков слуг и возниц. Вдобавок по тракту из Цисны гнали в Ярослав стадо волов, тянулись возы с вином и сукном.

– Что здесь творится? – недоумевала Ефросинья. – Ярмарка? Сеймик?

Бялоскурский криво усмехнулся и наклонился к ее изящному ушку:

– Похороны, милостивая панна.

– Похороны? А кого хоронят?

Бялоскурский промолчал.

– Наши кони измотаны, – пробормотала шляхтянка. – Давай ненадолго заедем в корчму, дадим им передохнуть и подкрепиться, а потом двинемся дальше.

С трудом они пробились к казимировской корчме, где тракт из Поляны пересекался с дорогой из Венгрии на Лиско и Санок. Быстро сдали коней конюхам и уселись в углу алькова. Корчма была почти пуста. За столами сидело несколько крестьян, но, завидев знатных гостей, корчмарь-еврей выпроводил их вон, рассыпался в поклонах перед шляхтой, смахнул полой халата со стола и мигом принес пивной похлебки со сметаной.

Ефросинья сидела молча, прислушиваясь к гулу голосов снаружи. Бялоскурский внешне оставался невозмутим – уплетал похлебку, не обращая внимания на девушку. Панна не выказывала страха, но шляхтич хорошо видел, как под столом ее пальцы все крепче сжимались на рукояти баторовки.

Бялоскурский холодно и жестоко улыбнулся:

– Знаете, ваша милость, я вспомнил, кого здесь хоронят.

– И кого же?

– Пана Сулатыцкого, которого я собственноручно чеканом раскроил в корчме в Лиско.

– Что?! Раскроил?! Быть не может! И ты только сейчас об этом говоришь?!

– Вся эта шляхта – клиенты, друзья, прихлебатели и домочадцы пана Петра Бала, подкомория саноцкого, чьим слугой был Сулатыцкий. Если меня кто-нибудь здесь признает, до старосты живым не доеду!

– И ты только сейчас это говоришь, собачий сын?! Сто чертей! Что делать?

– Вашей милости решать, как мне отсюда живым выбраться, – криво усмехнулся разбойник. – Иначе награду пан подкоморий получит...

– На коней! – Девушка вскочила из-за стола. – На коней, пока...

Дверь с грохотом распахнулась. Внутрь ввалилось несколько панов-братьев в делиях и жупанах, в меховых шапках и колпаках. Шляхтянка опустила голову, Бялоскурский и бровью не повел. Но если оба думали, что это лишь случайная встреча, то глубоко ошибались. Взгляды новоприбывших мгновенно устремились на ее спутника.

– Это он, – пробормотал один.

– Точно Бялоскурский, – подтвердил второй.

– Он самый.

– Ясновельможная пани-благодетельница! – обратился старший из них, с загорелым лицом, красным от пьянства носом и огромными усищами, после чего отвесил поклон, сметая куриный помет волчьей шапкой. – Мы пришли в ножки упасть и просить, чтобы ваша милость позволила этому кавалеру пойти с нами. У нас есть дело к его милости, ибо нашего товарища и родственника он тиранически обушком раскроил.

– Пан Бялоскурский в моей власти, – отрезала Ефросинья. – И, ей-богу, прежде чем он удовлетворит ваши претензии, он попадет в темницу в замке Перемышля. Если у вас к нему дело, то езжайте к старосте, ибо из моих рук ни Бог, ни дьявол его не вырвет!

Шляхтичи расхохотались, услышав такие бойкие слова из уст молодой девчонки.

– Отдай нам господина Бялоскурского, милостивая панна, – примирительно сказал второй из панов-братьев, молодой, черноволосый и черноглазый. – Это убийца, проклятый человек. Мы с ним церемониться не станем. Здесь, на току, сложит голову. Нам палач не нужен.

Бялоскурский даже глаз не поднял. Казалось, его интересовала только пивная похлебка.

– Нет, ваши милости, – твердо сказала панна Гинтовт. – Не отдам я вам разбойника. А если это не по нраву, то приглашаю ваши милости на сабельки!

Шляхтичи захохотали и двинулись к столу.

– С бабой, прошу ваши милости, нам биться? – рассмеялся усатый. – Я верно ли слышу?

– Осторожно, паны-братья, как бы нас коза не забодала! – взревел бородатый толстяк, от которого несло застарелым салом и чесноком.

– Ни шагу дальше! – воскликнула Ефросинья. – Назад!

Но они и не думали слушаться.

Девушка молниеносно выхватила руку из-под стола — они успели заметить лишь блеск начищенного ствола. Грянул выстрел, сотрясая низкий потолок корчмы, а вспышка пороха ослепила их. Осколки, стекло и подковные гвозди изрешетили их тела. Двое забияк рухнули, истекая кровью, остальные заорали, сбившись в кучу, посеченные по лицам, груди, головам и глазам настоящим огненным градом. Не успели они опомниться, как Ефросинья налетела на них словно бешеная волчица, вырвавшаяся из клетки. С первого же удара она проломила череп чернявому франту. Следующий шляхтич схлопотал в бок, затем по руке и в морду, лишившись половины пышных усов. Остальные бросились наутёк — ринулись к дверям, и едва первый перемахнул через порог, как они заголосили во всю глотку:

– Сюда! Сюдааа!

– Бялоскурский здесь!

Панна Ефросинья не погналась за ними. Она захлопнула дверь в сени, задвинула засов и огляделась. Впервые... Впервые с тех пор, как они покинули Лютовиски, Бялоскурский увидел в её глазах страх и растерянность.

Вокруг корчмы поднялся гвалт — крики, вопли, призывы. Со стороны большой дороги и с тыла, от огорода, донёсся топот подкованных сапог и лязг оружия. А затем в ворота застучали топоры и чеканы, за мутными окнами замелькали людские тени.

– Хватай их! Они в алькове!

– Двери! Выбивайте топорами!

– Окружай корчму, братцы!

Кто-то пальнул через окно — пуля просвистела у самого носа пана Бялоскурского. Грянул второй выстрел, третий, а затем рамы узких окон разлетелись вдребезги под градом ударов дубин, кистеней и обушков. Двери затряслись, заскрипели, первый топор с треском пробил доски, расщепляя дерево, круша гвозди и петли. Ефросинья заметалась, как загнанная в угол волчица. Вдруг её взгляд упал на лестницу в углу.

– На чердак, пан Бялоскурский! – рявкнула она. – Живо, пока с нас шкуру не спустили!

Шляхтич не стал мешкать. Он проворно вскарабкался по деревянным ступенькам, толкнул крышку в потолке, откинул её и забрался на чердак. Ефросинья последовала за ним. В последний момент они втянули лестницу; тут же снизу донеслись проклятия и брань, а пуля из полугаковницы со свистом отщепила край лаза.

– Что теперь?

– На крышу, пан Бялоскурский.

Они спешно разворотили кровлю и выбрались через узкую дыру на деревянную крышу. Ефросинья огляделась. Их окружили, как барсука в норе. Корчму обступила челядь и крестьяне, разъярённые шляхтичи уже ворвались внутрь и обшаривали комнаты. Под забором стонали раненые, их крики раздирали душу.

– Вперёд! – крикнула она, указывая туда, где соломенная кровля почти вплотную подходила к устланной гонтом крыше соседнего дома. – На навес! Уходим! Быстрее!

Бялоскурский хотел было возразить, но Ефросинья уже прыгнула, приземлившись на край навеса и ломая каблуками гонт, пробивая дыру в деревянной кровле. Шляхтич едва не сверзился наземь; навес затрещал под их весом, над головами просвистели пули, а на землю посыпались трухлявые щепки.

– На крышу, быстрее!

Ефросинья первой вскарабкалась на крышу дома. Одним прыжком она преодолела конёк и заскользила вниз по скату на своей округлой пятой точке. Вскрикнув, она вылетела за край и приземлилась в заросшем саду, среди сорняков и старой капусты. Бялоскурский последовал за ней, разрывая жупан и шаровары, и крякнул, опустившись на мягкую землю. Но медлить было нельзя. Панна Гинтовт вскочила и помчалась, словно лань. Они быстро перемахнули через покосившийся забор, пробежали по размокшим, грязным грядкам и влетели в узкий проход между двумя хижинами...

Дальше пути не было. Прямо на них неслась толпа слуг и крестьян, вооружённых дубинками, кочергами, оглоблями, вилами и граблями. Сзади загрохотали копыта челяди, прогремели два выстрела.

Ефросинья остановилась, тяжело дыша. Что делать, чёрт побери? Что делать?!

– Беги! – крикнул Бялоскурский. – Я их задержу! Прорывайся!

И тут случилось чудо. Внезапно, совершенно неожиданно, за спинами несущейся на них крестьянской толпы загрохотали копыта. Трое всадников врезались в серую массу, мгновенно разогнали её, растоптали и рассеяли, хлеща мужиков саблями плашмя, колотя нагайками и прикладами ружей. Крестьяне разбежались, словно стая дворовых гусей, а всадники – знатный молодой шляхтич, казак и гайдук – доскакали до Ефросиньи и изгнанника. Бялоскурский замер. Это был Дыдыньский. Сын стольника саноцкого, лучший рубака во всём Русском воеводстве.

– На коня! – гаркнул шляхтич. – На коня, если жизнь дорога!

Казак вёл за собой двух заводных коней, серых оседланных меринов. Бялоскурский одним прыжком вскочил в седло. В его лёгких захрипело, но он перевесился через луку, перевернулся, и его нога сама нашла стремя.

Ефросинья ухватилась за седельный рожок и заднюю луку, подтянулась и одним махом оказалась на спине скакуна. Дыдыньский развернул своего коня и пришпорил его. Они помчались следом. Как буря влетели на захламлённый двор, перескочили через забор, растоптали грядки. Венгерские наёмники-сабаты подкомория будто сидели у них на плечах, Бялоскурскому казалось, что он уже чувствует на своём затылке горячее дыхание трансильванских секеев.

Где-то сбоку грянул ружейный выстрел. Валашский мерин Ефросиньи заржал и рухнул, вытянув голову вперёд!

Панна Гинтовт не дала себя придавить. Она выбросила ноги из стремян и перекувырнулась, упала в грязь, в лужу, в сухой чертополох, но тут же вскочила у изгороди с саблей в руке. Двое первых сабатов были совсем рядом. Они победно закричали, увидев перед собой окровавленную шляхтянку, и пришпорили коней. Ещё мгновение, один миг. Казалось, вот-вот они налетят на неё со всей силы...

Конь Дыдыньского перепрыгнул через павшего коня Ефросиньи быстрее молнии. Шляхтич налетел на разогнавшихся сабатов, уклонился от удара саблей и сам нанёс первый удар, отбил изогнутое лезвие венгерки и рубанул от локтя. Первый из сабатов вскрикнул, накренился в седле с разрубленной головой, выпустил из рук поводья; ещё мгновение он мчался на коне, а потом свалился набок, разрушая остатки забора, и замер в крапиве и чертополохе, у куч полевых камней. Второй из слуг откинулся назад, выронил саблю и соскользнул по крупу, упал, а обезумевший конь поволок его тело за стремя по размокшей дороге.

Остальные преследователи осадили коней, увидев, что случилось с товарищами. Дыдыньский расправился с двумя сабатами так же быстро, как прислужник после мессы гасит тлеющие свечи. Но Яцек из Яцеков не стал атаковать. Он сделал вольт на коне, подскакал к Ефросинье и впился в неё хищным, холодным как сталь взглядом.

– Твоя жизнь в обмен на изгнанника!

– Забирай его!

Одним быстрым движением он схватил её за талию и перекинул через седло. А затем развернул коня и помчался галопом.

***14. Слово волчицы***

– Твоя жизнь за Бялоскурского. Пора заключить сделку, милостивая панна.

Сабелька свистнула в её руке, блеснула в весеннем солнце. Дыдыньский даже не шелохнулся.

– Я спас тебя от сабатов, – спокойно проговорил он. – Если бы не моя сабля, ты бы прислуживала в аду самому Вельзевулу. И то на коленях, как укрощённая тигрица из зверинца пана Замойского. Что, полагаю, было бы совсем не по твоему нраву!

Она улыбнулась и облизнула алые губы влажным язычком.

– Бялоскурский мой, – твёрдо сказал Яцек из Яцеков. – Ты не заберёшь его туда, куда направляешься. По крайней мере, ещё не сегодня.

Она зашипела от злости, точно гадюка.

– Его душа принадлежит мне... Она моя... Только моя!

– Несомненно, твоя. Но ещё не сейчас. Я забираю пана разбойника и позабочусь о его здоровье.

– Какое здоровье? Ведь ты продашь его за две тысячи червонцев!

– Свою саблю я сдаю в наём за дукаты, – неохотно процедил он. – Однако никогда не продавал за талеры честь и удаль! Поэтому ты исчезнешь отсюда сию же минуту! И не вздумай нас преследовать!

Она молчала, словно не зная, что предпринять. Дыдыньский шагнул к ней, схватил её саблю голой рукой, сжал, а затем отвёл в сторону.

Она вскрикнула, отпрянула, вырвала клинок.

– Бялоскурский похитил меня из родного дома! – рыкнула она. – Он сделал так, что я потеряла всё, отдавалась как шлюха за несколько шелягов, за кувшин горилки, каждый день молилась, чтобы он попал в мои руки. Из-за него я продала душу дьяволу! А когда он вернулся сюда, я следила за ним от самой границы, убила крестьян, которые присоединились к нам, прорубилась через засады и волчьи ловушки...

– Ты получишь его, когда он умрёт.

– Этого мало!

– Я спас тебе жизнь.

– Пёс ебал такую жизнь!

Сабля панночки свистнула в воздухе. Удар был быстрым как молния, неожиданным как прыжок леопарда и... Дыдыньский невозмутимо принял его на клинок своей сабли. А затем, быстрее чем Ефросинья опомнилась, контратаковал, ударил плашмя по её ладони, сжимавшей рукоять и эфес, выбил оружие из женской руки! Сабля панны блеснула в воздухе, просвистела и со звоном ударилась о камни в нескольких шагах поодаль.

Панна опустила голову.

– Ты победил, пан Дыдыньский. Когда-нибудь... мы обязательно встретимся!

– Уезжай уже!

Она кивнула, повернулась и направилась к коню. Дыдыньский смотрел ей вслед, пока она не подняла саблю, не вскочила в седло и не помчалась рысью в сторону леса. Когда она скрылась за деревьями, он повернулся и прошёл между высохшими поваленными буками.

Бялоскурский склонился на колени. Он хрипел и кашлял, плюясь кровью. Дыдыньский схватил его за плечо, помог встать, посмотрел в глаза.

– На коней, пан-брат, – прохрипел изгнанник. – До старосты долгая миля. Не успеешь на вечернюю мессу. Бордель тебе закроют, прежде чем золота от Красицкого дождёшься!

– Откуда ты знаешь, что я хочу сдать тебя старосте?

– Если меня отпускает пан Яцек из Яцеков, рубака и заездник, первая сабля в Саноцком, то делает он это не для пустой славы. Мечты мечтами, а жить надо. И жидам по корчмам платить. Девкам дукаты бросать, на благосклонность властьимущих зарабатывать. Наряды стоят денег, шелка, бархаты, аксельбанты, парча, жемчуга, бриллианты, пуговицы, бирюза, пояса, кони... Знаю я это, пан-брат.

– Зачем ты сюда вернулся, пан Бялоскурский? Над тобой смертных приговоров больше висит, чем волос на башке!

– Я умираю, – прохрипел изгнанник. – Хочу сдохнуть здесь, у своих, на Руси. А что, я в своём праве. Polonus nobilis sum!

– Умирать можно по-разному. И вовсе не под палаческим топором!

– Перестань читать мне проповеди, пан-брат! Поедем к старосте и пусть всё это закончится.

– Я вовсе не хочу тебя забирать к старосте!

– Как так? Кому ты служишь, пан Дыдыньский?

– Отцам-цистерцианцам из Щижица.

Бялоскурский захохотал, оскалив жёлтые зубы.

– Ваша милость шутит надо мной! Попам? Может ещё ad maiorem Dei gloriam? Может вместо золота часословами и чётками кошель тебе набили!

– Я должен монахам из Щижица услугу. Брат-настоятель просил меня, чтобы я освободил тебя от опасностей и дал это. – Дыдыньский вытащил из кошелька запечатанное письмо.

– Что это?

– Отцы-цистерцианцы выхлопотали для тебя охранную грамоту, благодаря которой ты можешь безопасно доехать до монастыря. А там...

– Я должен облачиться в рясу? Ты сошёл с ума, пан-брат? Воображаешь себе Бялоскурского с тонзурой, бубнящего часословы в трапезной?! Наверное, твоя милость с перемышльской башни башкой вниз свалился!

– Отец-аббат хочет дать тебе хоть минуту покоя. Где ты укроешься, пан Бялоскурский? У старосты Красицкого? У Дьявола Стадницкого? А может, к светлейшему пану за охранной грамотой поедешь? Только бы до Вислы целым добраться! Ты, пан-брат, бандит, мерзавец, подлец и изгнанник, а как будто этого мало ещё, бывший рокошанин, которого любой мужик оглоблей жизни лишит. Найдёшь ли в воеводстве хоть один дружественный двор?

– Кажется, у меня нет выбора.

– Есть. Если не примешь охранную грамоту, через два дня я начну на тебя охоту. А тогда кто знает – может, я польщусь на награду старосты Красицкого.

Бялоскурский молчал минуту. А потом протянул дрожащую руку за письмом.

– Хочешь меня, пан-брат, проводить до Щижица?

– Мне всё равно, что ты сделаешь. Я уже своё знаю и что должен был передать, то сказал. Тебе, пан Бялоскурский, принадлежит выбор, осядешь ли в монастыре или будешь до конца своих дней как волк, загнанный гончими псами. Замечу только, что в Щижице вполне пристойно. Мало постов братцы соблюдают, а порку дают только за содомию и самые большие грехи.

– Поеду, – прошептал Бялоскурский. – Вели мне дать коня, пан-брат.

– Ты выбрал мудро.

***15. Волчица***

Сеть упала на неё, как только она въехала между старыми буками. А вместе с ней на шею и плечи спрыгнули с деревьев два гайдука. В одно мгновение они сбросили её с коня, повалили, прижали к земле, разрывая жупан, хватая за волосы и плечи. Она боролась как раненая львица, вырывалась, кусалась и брыкалась, тогда другие выскочили из зарослей на помощь товарищам. Они не дали ей дотянуться до сабли или кинжала, а пистолеты остались в ольстрах у седла.

Уже через мгновение они подняли её с земли, грязную, в разорванном платье. Она не могла вырваться. Не могла даже пошевелиться. Нападавшие крепко держали её.

Огромный шляхтич в малиновом жупане подошёл к девушке. Он хромал на правую ногу. Схватил панну Гинтовт за волосы и грубо откинул её голову назад.

– Помнишь меня, чёртова шлюха! – процедил он сквозь стиснутые зубы. – Помнишь, что ты мне сделала в корчме у еврея Липтака в Саноке, сифилитичная потаскуха!

– Я промахнулась, ваша милость. – Она злобно усмехнулась. – Если бы я ударила немного левее, ты мог бы теперь охранять гарем у татар, милостивый господин. Или благочестивые песни петь в хоре, как те кастраты из Италии. Однако божественное провидение над тобой бдело и оставило тебе одно яичко, хоть и только для утешения. Потому что даже с обеими половинками драгоценности был ты не очень-то хорошим жеребцом.

Он ударил её изо всех сил по лицу. Голова девушки откинулась в сторону, на щеке расцвёл красный след.

– Что за сила, пан, – выдохнула она со злостью. – Жаль, что в чреслах такой нет. Говорили мне шлюхи из Перемышля, что рады бы напоить вашего конька, только ваша булава так коротка, что до источника любви дотянуться не может. Неудивительно, что издох от жажды жеребец вашей милости.

Хромой ударил с другой стороны. Ефросинья застонала. Он снова схватил её за волосы, посмотрел с презрением прямо в глаза, а потом ударил изо всех сил в живот. Она вскрикнула и согнулась пополам, застонала в могучих руках гайдуков.

– К дереву её!

Слуги поволокли Ефросинью к старому дубу. Пеньковая верёвка уже была приготовлена, покачивалась на ветру. Но время казни ещё не пришло. Пока гайдуки сорвали с панны жупан, разорвали рубаху, обнажив стройную спину и прекрасные груди, увенчанные тёмными ягодами. А потом привязали её к дубу крепкими, толстыми ремнями. Кулас взял длинный кнут, потряс им в воздухе, приблизился к девушке.

– А теперь, пташечка, – сказал он весело, – потанцуем. – Ты будешь плясать здесь, а я буду играть тебе вот этим кнутом. А когда услышу хоть один твой крик, пойдёшь покачаться на ветру.

– Не хватит тебе сил, слабак!

Кнут свистнул в воздухе, рассёк гладкую кожу на спине панны Ефросиньи. Девушка съёжилась, дёрнулась в путах, но не издала даже стона.

Хромой ударил во второй раз. Хлестнул крест-накрест, стряхивая с кнута капельки крови.

Ефросинья тяжело дышала, её лицо было облеплено мхом; чтобы не кричать, она грызла кору дерева.

– Танцуй, шлюха! – прорычал Кулас сквозь щербатые, почерневшие зубы.

– Коли вашей милости хочется танцевать, так может со мной?! – раздался чей-то голос.

Неподалёку от Куласа, в яме между корнями поваленных ветром буков, стоял Бялоскурский с рокошанкой, закинутой на плечо. Он захрипел и сплюнул кровью на землю.

– Страх вас обуял, козоёбы?! – выдохнул он. – Боитесь старого чахоточника?! Давайте же, мне не терпится сыграть вам плясовую на моей сабельке.

– Никита! Грицько, Матиас! – скомандовал Кулас. – Поблагодарите пана Бялоскурского за визит.

Вызванные гайдуки без лишних слов бросились к шляхтичу. Если они думали, что зарубят его в два счёта, то сильно ошибались. Изгнанник метнулся к ним, как рысь, избежал первого удара движением настолько быстрым, что могло показаться, будто в одно мгновение дьявол скрыл его от их взоров шапкой-невидимкой. Одним ударом с локтя пан Мацей раскроил череп первому, отбил удар второго, отскочил и, рубанув с полуоборота, рассёк ему шею. Последний из врагов приготовился к защите, но было уже поздно! Бялоскурский прыгнул на него, сбил саблю в сторону одним мощным ударом, а вторым успокоил навечно.

– Милостивые господа! – взревел Кулас, видя, что число его слуг значительно поредело. – Кончайте его! Немедленно!

Бялоскурский не стал ждать. Сам бросился прямо на вооружённых людей, ворвался между холопами и наймитами пана Хулевича. Бил как молния, уклонялся от ударов, отбивал атаки и всё время оставался в движении. Враги напирали на него со всех сторон, ударяли справа, слева, снизу, крестом и в кисть, но он искал взглядом только Куласа.

Поднялся крик и вопли, когда сабля пана Хулевича взлетела вверх, просвистела и блеснула на солнце. А потом вооружённые гайдуки, челядь и благородные господа замерли. Кулас стоял, отклонившись назад, тяжело дыша. За его спиной притаился Бялоскурский, а остриё кинжала касалось обнажённой шеи пана Хулевича.

– Всем бросить оружие и убираться в лес! – рявкнул изгнанник. – Считаю до трёх, а потом ваш господин захлебнётся собственной кровью.

Слуги замерли. Кулас с трудом кивнул головой.

– Слу...шайте его, – прохрипел он. – От...ступайте!

Гайдуки и слуги бросили сабли и пистолеты. А потом начали беспорядочно отходить.

– Быстрее! – Бялоскурский прижал кинжал к жирной шее пана Хулевича. – Шевелитесь, сукины дети!

Вооружённая челядь разбежалась, как стайка вспугнутых куропаток. Бялоскурский выждал ещё мгновение, а затем отвёл кинжал от шеи противника, толкнул его и пнул изо всех сил в зад. Кулас влетел в крапиву, как ядро, выпущенное из аркебузы, прокатился по камням, вскочил, уставившись злыми глазами на шляхтича.

– Мы ещё встретимся, ваша милость! – крикнул он. – Ещё сведём счёты!

– На твоём месте, пан-брат, – Бялоскурский отступил к дубу, к которому была привязана панна Гинтовт, – я бы скорее думал о том, насколько ты доверяешь своим ногам. И сумеешь ли удирать, как заяц или татарский басурман с добычей. Одно точно – тебе придётся превзойти и того, и другого, если не хочешь петь в хоре его преосвященства епископа перемышльского.

– Что такое?!

– Через мгновение я освобожу панну от пут, – мрачно сказал Бялоскурский. – И голову даю, что я, умирающий чахоточник, не смогу удержать её от погони за тобой. Убегай же, добрый совет даю!

Кулас вскрикнул в ужасе. А потом, подобрав полы жупана, пустился бегом через кусты и папоротники. Он ковылял изо всех сил, продирался сквозь заросли и ветви, споткнулся о валун и покатился вниз. Поднялся окровавленный, бежал, хромал изо всех сил, лишь бы оказаться подальше от панны Ефросиньи.

Бялоскурский подождал, пока его фигура не исчезнет в лесу, а затем перерезал путы панны Гинтовт. Полуобнажённая девушка вскочила, готовая бежать, как лань. Без слов схватила саблю и бросилась вдогонку за Куласом.

Бялоскурский присел на брошенное седло. Захрипел и сплюнул кровью. А потом, когда далеко в лесу раздался ужасающий, животный вой, сделал глоток горилки из брошенного бурдюка.

***16. В ад***

– Зачем ты это сделал?

– Тогда, в Хочеве, – прохрипел он, – ты встала на мою защиту и спасла мне жизнь. А я не люблю быть в долгу.

– И ты, наверное, думаешь, что я тебя прощу?!

– Я ничего не думаю.

– И правильно, пан Бялоскурский, потому что я не Богородица, и не в моей власти даровать тебе прощение.

– Я вовсе об этом не прошу.

– Раз ты вернулся, пора завершить наше путешествие. А ты ведь знаешь, куда я хочу тебя отвезти...

– Тогда в путь, милостивая панна!

– Не боишься?

– Я уже дважды сбегал из Перемышля. А из Красичина, от старосты, меня однажды выкрал пан Дыдыньский. За деньги.

– Откуда ты знаешь, пан Бялоскурский, что мы поедем в Перемышль?

Шляхтич холодно улыбнулся.

– Я, милостивая панна, сжёг за собой все мосты. Пан Дыдыньский выхлопотал для меня охранную грамоту... Грамоту в монастырь в Щижице... Но я не гожусь в монахи. Поедем уж лучше в ад, потому что я предпочитаю котлы чёрта монашеской келье и бормотанию молитв.

– Славно сказано, пан-брат. Я отведу тебя в место, где ты искупишь все свои грехи.

– Тогда в путь.

Они пришпорили коней, а затем выехали на полонину, на дорогу, ведущую под вековыми, искривлёнными буками, прямо к лесистым склонам, лугам и высоким пикам Бескид.

# Иерусалим

***1. Погоня***

Их предваряли лай собак, стук конских копыт, крики и возгласы. Словно буря, они ворвались в окрестности Крысинова; челядь и господа-товарищи разделились на четыре группы, поскакали верхом через поля, помчались по тропинкам к хатам, распугивая кур, уток и гусей, вызывая ужас у крестьян и деревенских слуг. Глядя на всадников, скачущих через дворы, перепрыгивающих через заборы, заглядывающих в амбары и хижины, обыскивающих гумна, можно было подумать, что на деревню напали татары или жестокие сабаты из Венгрии.

Товарищи и слуги, ведущие на поводках породистых борзых, своры гончих псов, наполняющих окрестности лаем и воем, помчались прямо к усадьбе. Они осадили вспененных скакунов перед деревянным строением, увенчанным крытой гонтом крышей, опирающейся на обширные подсени, с высоким крыльцом. Челядь и гайдуки бросились к дверям, забарабанили кулаками и обухами.

– Открывайте, сто громов вас порази!

– Двери отворите!

Прошло мгновение, прежде чем лязгнули засовы. На пороге появился старый шляхтич, одетый в выцветший зеленоватый жупан с закатанными рукавами. Он был без сабли, с седыми усами, белыми волосами, как у почтенного старца, но возраст не подточил его сил – он выглядел бодрым и здоровым, не сгибался к земле, не опирался на трость или палку.

– Приветствую вас, господа! – сказал он приветливо. – Что привело вас в мой скромный дом?

– Изгнанника прячете! – крикнул усатый гайдук с лицом, украшенным двумя шрамами от сабельных ударов.

– Через лес убежал!

– В деревне укрылся!

– В усадьбе!

– Неужели вы заблудились на охоте, братья?! – насмешливо спросил шляхтич. – Или, может, чёрт вам дороги попутал в поле? Что скажете на это, пан Хамец?

Подстароста саноцкий, худой как жердь, выпрямился в седле, подкрутил пышные усы и откашлялся.

– Простите за вторжение, пан Крысиньский. Мы преследуем шляхтича, пойманного in recenti при нападении на усадьбу его милости пана Миколая Тарновского в Загуже.

– У этого человека, должно быть, есть имя и фамилия, брат.

– Это Яцек Дыдыньский, – проворчал подстароста. – Сын стольника саноцкого. Изгнанник и преступник! Он будет повешен!

– И вы говорите, что он напал на Тарновского? А я слышал, что пан Тарновский незаконно захватил Загуж почти год назад.

– В усадьбу! – крикнул молодой гайдук и бросился к дверям. – Ловите Дыдыньского!

Быстро, как рысь, старый шляхтич схватил слугу за плечо и остановил на месте, словно могучий тур останавливает атакующего козла.

– Куда это ты, брат?! – насмешливо спросил он. – Господа, даю вам слово шляхтича, что никто не переступал порог этого дома. Здесь нет ни Дыдыньского, ни кого-либо из его слуг.

– Тот, кто изгнанника в своём доме укроет, должен быть схвачен iudicio castrensi, – пробормотал Хамец. – Вы знаете, пан, что вас ждёт, если вы говорите неправду?

– Если уж мы в латыни состязаться будем, – проворчал Крысиньский, – то помните, пан подстароста, что изгнанников в шляхетских домах можно хватать только стороне iure vincenti, то бишь – победившей в суде. Разве вам недостаточно моего слова, брат? Разве я мог бы лгать?! Зачем? Дыдыньский мне ни брат, ни сват.

Зигмунт Хамец, подстароста саноцкий, задумался. Он смотрел на Крысиньского из-под прищуренных век, ёрзал в седле. Гайдуки напирали на старого шляхтича, но он стоял неподвижно, словно могучий вепрь перед сворой дворовых псов.

– Я верю вам, – наконец пробормотал подстароста. – Если вы даёте слово, то я уверен, что вы не укрываете беглеца.

– Благодарю вас, брат.

– Господа, на большак! – приказал Хамец своим людям. – По коням и вскачь! Должно быть, Дыдыньский на Хочев поехал! Погонимся за ним! Кто первым беглеца увидит, талер получит!

Сабаты, гайдуки, челядь и товарищи пана подстаросты вскочили на коней. Вскоре звуки труб подняли на ноги остальных старостинских слуг – рассеянных по деревне, обыскивающих стога, гумна, амбары и житницы. Не прошло и полминуты, как погоня исчезла за холмом, оставив после себя двор, поля и пустоши, изрытые конскими копытами.

Крысиньский вошёл в сени. Он остановился возле двух молодых дворовых слуг и покачал головой.

– Не бойтесь, братья, – сказал он. – Уже всё закончилось. Видно, моё слово ещё что-то значит в Саноцкой земле.

***2. Отцовская сабля***

– Смотри, что я нашёл, сестра.

Гедеон опустился на колени перед стогом сена, засунул руку под деревянный помост. Он долго искал и, наконец, вытащил длинный деревянный ящик.

Рахиль опустилась на колени рядом с младшим братом. С любопытством погладила гладкое дерево.

– Что это?

– Тише. Это футляр отца.

– А если он нас увидит?

– Он никогда сюда не приходит.

Рахиль огляделась вокруг. Отец никогда их не бил; до сих пор все проступки, которые она совершила, такие как увод без разрешения жеребца из конюшни или вытаптывание пшеницы братьям из деревни во время весенней охоты, заканчивались только строгими выговорами и чтением молитв. Правда, отец ещё не знал, что совсем недавно, на святого Иоанна, она была на Конопляной Горе, где проходил шабаш ведьм и баб со всей округи. С другой стороны, её родитель не верил в колдовство или какие-либо суеверия, называя их иезуитскими выдумками. А иезуитов пан Крысиньский страстно не терпел. Как и остальные братья в Крысинове, называемом жителями новым Иерусалимом.

Однако Рахиль не была уверена, не рассердится ли он, узнав, что они добрались до такого тщательно охраняемого секрета. Она думала, не приказать ли Гедеону спрятать ящик обратно, но её женское любопытство победило. С румянцем на щеках она откинула крышку, чувствуя себя почти так, будто открывала древний и пресловутый ящик Пандоры.

Внутри было оружие. Длинное, изогнутое, в чёрных ножнах, украшенных тонким серебряным узором, увенчанное простой, как крест гардой, украшенной сбоку полукруглым палюхом для большого пальца. Гедеон взял рукоять с украшенным золотом навершием и поднял вверх. Оружие было не таким тяжёлым, как ему казалось. Оно хорошо лежало в руке.

– Это сабля, – прошептал он, глядя на оружие во все глаза. – Сабля нашего отца. Ведь мы из шляхты. Почему батюшка не носит её на поясе, как другие господа?!

– Это большой грех, – сказала Рахиль. – Этим причиняют смерть, боль, страдание. Спрячь это, прошу, а то отец увидит.

Гедеон не слушал. Он дёрнул за рукоять и вытащил клинок из ножен до самой широкой части лезвия. С восхищением посмотрел на него.

– Убери это! – прошипела она предостерегающе и дёрнула его за плечо. – А то всё расскажу отцу!

– А почему батюшка не вынимает её, чтобы нас защитить?! – гневно вспылил он. – Когда снова приедут к нам люди Паментовского, я им головы поотрубаю!

– Что ты говоришь! – воскликнула она. – Господь тебя накажет, пошлёт на тебя несчастье. Нельзя желать ближнему самого худшего.

– Даже Паментовскому?

– Даже ему! Ведь он человек!

Он вложил саблю в ножны, убрал оружие в ящик, и тогда Рахиль увидела, что там было ещё что-то. Какой-то предмет из золота. Она погрузила руки в деревянный футляр и, почти не осознавая, что делает, вытащила этот предмет на свет. Это был крест. Большой, подвешенный на золотой цепочке.

– Что это?

Гедеон посмотрел на неё с удивлением.

– Идол папистов? Откуда он здесь? Как так?

– Это тоже отца?

Внизу зашуршала солома. Гедеон испуганно огляделся, а затем быстро бросил саблю в ящик. Рахиль втиснула туда крест, захлопнула крышку. Её брат засунул ящик под доски, осмотрелся. К счастью, никто их не видел. Шорох соломы повторился. Рахиль первая добралась до края помоста, посмотрела вниз, на гумно, и замерла.

В сарае был какой-то молодой незнакомец; видимо, шляхтич, судя по зеленоватому жупану и кольчужному поясу, которым обычно не подпоясывался ни один из плебеев. А уж тем более никто из крестьян или мещан не носил бы на правом плече блестящий наруч, а на боку саблю в чёрных ножнах.

Она с удивлением смотрела, как он выбирался из соломы, как неуклюже опирался о деревянную подпорку и хромал в сторону открытых ворот. Только теперь она увидела, что весь его бок был покрыт кровью, а жупан разорван, изодран и испачкан алым.

Одним быстрым движением она спрыгнула на гумно, схватила старую ручку от бороны, валявшуюся в углу, и подскочила к незнакомцу.

Шляхтич замер, увидев перед собой вооружённую панну, и оперся на край закрома. Только теперь Рахиль заметила, что у него зелёные, хищные глаза, тёмные, нахмуренные брови и, несмотря на молодой возраст, несколько белёсых шрамов на голове.

– Стой, сударь! – крикнула она, поднимая палку. – Кто ты и что здесь делаешь?

– Сударыня, пощади моё здоровье! – весело рассмеялся он. – Мне уже немного нужно, чтобы на крылышках в рай полететь!

– Вы издеваетесь надо мной! – пробормотала она, не зная, что сказать, но догадываясь, что он, вероятно, прятался в конюшне уже долгое время. – Я...

Он бросился к ней, морщась от боли, хромая, схватил за плечо, не обращая внимания на суковатую палку в её руке, и зажал руку девушки словно в кузнечных клещах.

– Где они? Уехали?

– Какие они?

– Люди старосты! Всё ещё ищут меня?!

Только теперь она поняла всё до конца. Поняла, почему он прятался в соломе и спрашивал о погоне, которая всего две четверти часа назад помчалась в сторону Хочева. Она дёрнулась, но безуспешно.

– Вы беглец! Это вас преследует его милость пан подстароста!

– Тише, сударыня. Я Яцек Дыдыньский, сын стольника саноцкого. Ты должна мне помочь. Мой конь пал в лесу, а погоня совсем близко. Мне нужен новый скакун, хоть какая-нибудь кляча!

– Вы в розыске... И наверняка за дело! – всхлипнула она. – Оставьте меня в покое, я вам ничего не сделала.

– Я ещё не осуждён, – весело пробурчал Дыдыньский. – Но если меня схватит подстароста Хамец, я буду не только изгнанником, но и мертвецом. К чему сударыня легко приложит руку, если не приведёт мне коня.

– Батюшка... Я не могу так...

– Нет времени, веди в конюшню! И не трясись, сударыня. Я не причиню тебе вреда. Венка со мной не потеряешь, потому что я ранен и нет сил. Иди в конюшню, пташка, – нетерпеливо рыкнул он, – и оседлай подъездка. Меч висит над моей головой, так что, наверное, ты не хочешь иметь на совести мою душу!

Она не знала, что сказать. Она была напугана и удивлена смелостью этого шляхтича, который распоряжался ею, панной Крысиньской, как своей безвольной подданной, простой крестьянкой или дочерью мельника с хутора. Отец... Где был её отец? Она знала, что должна обо всём ему рассказать, сообщить, а батюшка уже справится с этим проходимцем.

– Давай! Не буду я тут торчать целую вечность.

Он отпустил её плечо, и тогда она направилась к открытым дверям конюшни. Дыдыньский двинулся за ней, а потом застонал, остановился, схватился за ногу, опустился на одно колено. Кровь сочилась из его шляхетских шаровар. Даже хромая, он оставлял за собой следы тёмной крови.

– Крепко меня задело, – пробормотал он. – Остаётся мне только рассчитывать на милосердие сударыни.

Она отскочила на безопасное расстояние, видя, что в таком состоянии он мало что ей сделает.

– Я пойду за батюшкой! – заявила она. – Он решит, что делать с вами.

– Не нужно, – раздался голос за её спиной. – Я уже здесь.

Она испуганно обернулась и увидела старого Крысиньского, рядом с которым стоял Гедеон и несколько помощников со двора. Отец подошёл ближе, впился блестящими, пронзительными глазами в сына стольника. Хватило мгновения, и он всё понял.

– Вы Дыдыньский, – сказал он спокойно. – Это вас ищет подстароста с прислужниками. За набег на шляхетский двор.

– Мне нужен конь, пан-брат. Заплачу, если надо.

– Мы мирные люди. И не ищем неприятностей, пан Дыдыньский. А у вас после последнего набега на руках кровь.

– Моя кровь.

– Кровь всех, кого вы зарубили в ссорах, убили на дуэлях, в набегах, замучили на войнах.

– Они вставали передо мной лицом к лицу, пан-брат. Я не убиваю из-за угла.

– Убийство всегда остаётся убийством. Независимо от того, совершено ли оно на дуэли или в... как вы это называете, победоносном сражении.

– Кто вы такой, пан-брат? – выдохнул Дыдыньский. – Вы благородного происхождения, а говорите как паршивый поп. И не носите саблю.

– Я отрёкся от вооружённого насилия и не проливаю крови. Вы попали в Иерусалим, пан-брат, и находитесь среди народа Божьего, который презирает земные страсти. В этой деревне нет господ, крестьян, вельмож и помещиков. Мы все братья и признаём только одного Небесного Короля.

– Вы христиане... Анабаптисты? – прошептал с изумлением Дыдыньский. – Я проездом был в Ракове. В вашей академии, где подтирал зад в отхожем месте иезуитскими пасквилями.

– Мы польские братья, пан Дыдыньский, – печально сказал Крысиньский. – Мы презираем мирскую славу, но осуждаем вооружённое насилие. И поэтому не можем принять того, кто живёт, причиняя вред ближним.

Дыдыньский побледнел. Кровь из раны на ноге потекла быстрее. Шляхтич упал на землю, опершись на руки.

– Так убейте меня, – прохрипел он. – Или отдайте подстаросте. Ну же, пан Крысиньский, смотрите, как я буду умирать. И радуйтесь, что вот покарал Господь Бог грешника!

Он осел на утоптанный пол, залитый кровью. И тогда Рахиль почувствовала, что что-то в ней ломается, что-то рушится. Почти не осознавая, что делает, она бросилась к Дыдыньскому, схватила его под руку, поддержала.

– Батюшка, не оставляйте его без помощи! Ведь это человек! Он умрёт!

Крысиньский оглянулся на прислужников и крестьян.

– Что делать, братья? Есть у вас какой-нибудь совет?

– Сказал Господь: возлюби ближнего своего, как самого себя. Нельзя оставить так человека, хоть и грешного, – сказал седовласый брат Йонаш.

– Пусть саблю отдаст, – проворчал Эфраим. – А то ещё начнёт в нашем Иерусалиме невинную кровь проливать!

Крысиньский подошёл к Дыдыньскому, наклонился над раненым.

– Мы не оставим вас без помощи. Но сначала отдайте мне саблю, которая столько крови пролила. Вы не можете находиться среди народа Божьего, имея при себе железо, запятнанное кровью невинных.

В глазах Дыдинского появился проблеск понимания. Не без помощи Рахили он отстегнул саблю от портупеи и подал – рукоятью вперёд. Старый шляхтич не вынул её из ножен, поднял вверх и причмокнул, как бывалый рубака, пробующий прелести пани из Сташува, Бара или Сандомира.

– Добрая сабелька, – проворчал он. – Будто приросла к руке за годы. Хороша для ударов и парирований. В самый раз для заездника.

– Отец, спасите, – простонала Рахиль.

Крысиньский наклонился над молодым рубакой. Быстро и без церемоний разорвал штанину шаровар, оторвал руку Дыдыньского от раны на бедре. Кровь брызнула вверх, а сын стольника застонал от боли.

Старый шляхтич положил обе ладони на кровавый разрез от сабли или палаша. Прикрыл глаза и прошептал слова молитвы.

А потом отнял окровавленные руки от тела пана Дыдыньского. Яцек застонал, но не от боли. Кровотечение остановилось. Рана была опухшей, но не синей, кровь из неё перестала течь. А потом Дыдыньский наклонился и упал в объятия панны Рахили. Он не потерял сознания, не лишился чувств. Он просто заснул.

***3. Во дворе***

Дыдыньский встал с постели уже на следующий день. Он чувствовал себя довольно неплохо; жар спал, раны перестали кровоточить. А самое удивительное, что зажил ужасный шрам на бедре. Шляхтич ощупал его, развернул повязку и удивился, увидев узкую, затянувшуюся полоску. Когда он встал с постели, то обнаружил, что почти не чувствует боли. Он быстро оделся, не прибегая к помощи челяди, а затем направился в светлицу двора. Побелённые стены больше напоминали внутреннее убранство крестьянской избы, а не дворянского дома. Здесь не было роскошных гобеленов, ковров и тканей, как в других шляхетских усадьбах. На стенах тщетно было искать оружие, потому что польские братья отрекались от насилия. Их оружием было слово, а защитой – помощь и опека Небесного Короля. Однако не всегда этого было достаточно, чтобы остановить ядовитые иезуитские пасквили, суды, трибуналы и упрямых, фанатичных панов-братьев с головами пустыми, как бочки из-под варецкого пива. Они нападали на «новых христиан» за непризнание Святой Троицы, отказ от службы в армии и освобождение крестьян от повинностей.

– Ваша милость уже встали?

Рахиль вошла так тихо, что он почти не услышал стука её башмачков. Сегодня вместо ермолки она была одета в колпачок, украшенный перьями цапли, и женский жупан из серебристой парчи. В нём она выглядела ещё красивее, чем вчера, поскольку этот наряд больше подчёркивал её округлые бёдра и приподнимал грудь.

– Это чудо, - сказал сын стольника, – рана на бедре уже зажила. Я должен в благодарность осушить бочку венгерского за здоровье вашего батюшки.

– Мой отец умеет исцелять людей. Давно, много лет назад, он получил дар от Небесного Господа. Тогда он оставил своё шляхетское сословие, вступил в ряды польских братьев и здесь, в нашем родном Крысинове, основал новый Иерусалим, освободил крестьян от повинностей, привёл братьев, а свою саблю... – она замолчала, когда осознала, что оружие отца нашли в сарае – отложил на всю оставшуюся жизнь.

– Я ваш вечный должник. – Он галантно поклонился перед ней. – Приказывайте, сударыня, и будьте уверены, что во мне вы имеете верного слугу. Нуждаетесь ли вы в вооружённом сопровождении? А может, нужно исполнить приговор? Соседский хутор захва... то есть... кхм, кхм, отобрать, назойливому нахалу задницу надрать, нос утереть? Во всём можете положиться на меня! Я никакой работы не боюсь!

– Вы оплатите долг у нас, если перестанете проливать кровь. Мы мирные люди, ни с кем не воюем, а если и воюют, то с нами – иезуиты и священники, сеймики и трибуналы.

– Сударыня, не хмурьтесь, но если бы я хотел проповедовать мир и милосердие, я бы ушёл в монастырь. К отцам-бернардинцам, потому что они большие пьяницы. А кстати, где моя ангелица-сабелька благородная, сандомирская? Под Буковом, Кирхгольмом и Клушином она хорошо мне послужила. Скажу вам по секрету, что без неё я как без руки или жены. Потому что когда эта сабелька свистнет, то будто хоры ангельские запоют!

– Как вы смеете говорить такие вещи здесь, в новом Иерусалиме?! Неужели вам такое удовольствие доставляет убийство своих братьев?

– Не знаю, чьи они там братья, но, наверное, не с моей ветви Дыдыньских. Ну, не сердитесь, сударыня, вы так прелестно выглядите, когда злитесь. Я не разбойник, бандит или своевольник с большой дороги, для которого убить человека – всё равно, что плюнуть. Я наёмник, но не убийца.

– Это небольшая разница.

– Я не служу негодяям и извергам, – проворчал он неохотно. – Я не обнажу саблю для старосты Красицкого из Дубецка, для «дьяволят» Стадницких или других изгоев. Я нанимаюсь для заездов, споров и исполнения приговоров, но помогаю тем, у кого нет сил держать саблю в руке. Даю вам слово шляхтича, что никогда в жизни не убил невинного человека. А если и убил, то непреднамеренно.

– И всё же вы обмениваете человеческие жизни на червонцы, талеры и дукаты.

– Мир полон дерьма, сударыня. Бешеных псов, изгнанников, бездельников, своевольников, смутьянов и бунтовщиков, а также обычной человеческой зависти. Кто-то должен это убрать; хотя бы для того, чтобы вы, сударыня, едучи в свой собор, не запачкали туфелек в конском навозе. Не буду отрицать – я убивал, и дальше буду разбивать шляхетские головы. Но при этом я помог многим достойным людям, которые были в беде хуже татарского набега. Где моя сабля?

– Батюшка забрал.

– Придётся мне, значит, бить ему челом. И поблагодарить. А знаете, сударыня, почему я говорю вам всё это?

Она молчала, словно испуганная.

– Потому что я даю мою шляхетскую голову на отсечение, что, господа польские братья, у вас проблемы не с одним соседом.

Рахиль разразилась плачем. Слёзы, крупные как блестящие жемчужины, стекали по её щекам. Шляхтич подскочил ближе, обнял её, успокоил как маленького ребёнка.

– Сударыня, что случилось? – спросил он. – Кто-то вас обидел? Кто такой?

Она ничего не сказала. Расплакалась ещё сильнее.

***4. Люди пана Паментовского***

Их приехало восемь, с челядью, с обнажёнными саблями и чеканами, заряженными пищалями и бандолетами, словно они собирались на куявский пир или свататься к пьяным запорожцам, а не в арианский двор. Медленно, не торопясь, они подъезжали к крыльцу. Оглядывались вокруг, присматривались к усадьбе, крестьянским хатам, загонам и полям, огороженным плетнями и заборами. Первый из всадников был маленький, в мисюрке, надвинутой на лоб, в рваной стёганке и кольчуге. Второй – толстый, потный, одетый в кунтуш, подбитый облезлым мехом. У него не было левого уха, зато природа украсила его подбородок тремя обвислыми складками, пышными усами и длинной бородой, ниспадающей на могучее брюхо. Третий выглядел значительно моложе; один ус у него был короче, другой длиннее. Он всё время щурил правый глаз, может потому, что на его брови, щеке и глазнице виднелся страшный зарубцевавшийся шрам от удара саблей или палашом. А четвёртый...

Этот был хуже всех. Самый молодой из новоприбывших, одетый в простой адамашковый жупан с алмазными пуговицами. К поясу у него была приторочена чёрная сабля, а к седлу – обушок с окованной железом рукоятью. У него были длинные, завитые волосы, выбивавшиеся из-под колпака. Он выглядел бы как школяр или подмастерье, если бы не глаза – голубые, смотрящие на всех с безграничным презрением.

Увидев необычных гостей, Крысиньский вскочил с лавки на крыльце. Быстро втолкнул двух челядинцев во двор, а затем встал на ступени и остановился там, преграждая приезжим путь в господские сени.

– Здравствуй, пан Крысиньский! – крикнул писклявым, старушечьим голосом самый мелкий из новоприбывших.

Старый шляхтич ничего не ответил. Слегка поклонился, но не настолько, чтобы надвигающиеся сорвиголовы приняли его поклон за жест, продиктованный страхом.

– Пан Паментовский шлёт вашей милости поклон, – пропищал шляхтич в мисюрке, – и просит бакшиш. Две тысячи польских злотых, червонцами, талерами, шостаками или ортами!

Кудрявый даже не взглянул на Крысиньского. Казалось, его занимал только позолоченный клевец-наджак и куры, суетившиеся на площади перед двором.

– А по какой причине, – грозно спросил Крысиньский, – я должен что-то заплатить пану Паментовскому? Я не являюсь ни его должником, ни арендатором. Это наследственная шляхетская деревня, и что я должен был заплатить Речи Посполитой, то уже давно заплатил. Чоповое, подушное, донативы и всё остальное...

Разбойники подъехали ближе – слева коротышка в мисюрке, а справа грузный обжора, от которого несло потом, застарелым салом и чесноком.

– Пан Паментовский просит дружеский подарок, – прохрипел толстый шляхтич. – А если ваша милость не захочет по-хорошему, то силой возьмёт.

– Не припомню, чтобы я брал деньги в долг у пана Паментовского. Я уже говорил вашим милостям, когда вы были здесь раньше – ваши старания напрасны, ибо я не знаю, по какой причине вы требуете от меня бакшиш.

– Причина проста и ясна, – рыкнул тот в мисюрке. – Плати бакшиш, сукин сын, потому что ты мошенник, еретик и безбожник, враг и обидчик нашей польской католической веры!

– Деву Пресвятую ты презираешь, – загудел толстяк. – Святого отца антихристом называешь. Поэтому мы – рыцари Христовы, защитники католической веры, – не можем такое оскорбление оставить безнаказанным. Плати, если хочешь спокойно свои чёртовы обряды совершать!

– Турка поддерживаешь, на погибель Речи Посполитой замышляешь! – прошипел третий из них. – Чтоб на вас, еретиков, перекрещенцев, Иисус Христос чёрную чуму наслал! Чтоб вас, как неверных жидов, в вечный огонь бросили! Чтоб вам святой Пётр все члены испортил, чтоб Господь Бог сделал так, чтобы вы при жизни сгнили, как трупы в могилах, ибо вы псы, сукины дети, ростовщики и жиды! И поэтому, как евреи в Кракове, будете козубалец платить.

Кудрявый ничего не сказал. Казалось, все его мысли занимало только созерцание собственных ногтей, золотого перстня-печатки и двух колец на пальцах. Он плюнул на то, что побольше, и растёр слюну рукавом жупана, чтобы вставленный в кольцо бриллиант засиял ярче.

– Успокойтесь, братья, – спокойно сказал Крысиньский. – Гнев вас сжигает, дьявол у вас на плече сидит и шепчет на ухо. Вы недостойны пребывать в нашем Иерусалиме, поэтому прошу вас, уходите, ибо вы оскверняете наше Царство Божье.

– Ваша милость, видимо, нас не поняла, – возмутился молодой. – Шутки с нами шутит и на посмешище людям выставляет!

– Тогда я объясню проще! – рыкнул коротышка. – Давай, сукин сын, талеры, а если не дашь, то мы тебе двор сожжём, дочь обесчестим, а твою чёртову молельню на все четыре стороны света развеем! Ты богатый, так что лезь в кошелёк!

– Ничего не заплачу. Убирайтесь прочь!

Кудрявый сделал одно движение, быстрое как молния. Незримо для глаза он замахнулся обушком, а потом ударил железным молотком Крысиньского прямо в висок. Старый христианин вскрикнул, пошатнулся, упал на колени. Колпак слетел с его головы, а из виска хлынула кровь, потекла на песок двора.

Кудрявый что-то напел себе под нос и снова потерял интерес к старику. Но это был не конец ссоры. Толстый шляхтич схватил Крысиньского за волосы, поволок за конём, ударил подкованным сапогом в живот. С другой стороны его настиг худощавый в мисюрке, хлестнул наотмашь нагайкой. Старик рухнул на землю, перекатился, съёжился, защищаясь от ударов.

– Хватит!

Кудрявый, наконец, заговорил. Однако он вовсе не смотрел на стонущего от боли Крысиньского. С безразличным лицом он вглядывался в аистиное гнездо на вершине одной из крестьянских хат.

– Пан Островский, дай ему, ваша милость, последнее предупреждение.

Мелкий шляхтич подъехал к залитому кровью Крысиньскому. Наклонился над раненым.

– Пан Паментовский предвидел, что ваша милость будет чинить препятствия. Поэтому даёт тебе время до воскресенья на сбор всей суммы. Когда через четыре дня мы сюда приедем, я хочу видеть все две тысячи злотых. В хорошей монете и в одном кошельке! Понимаешь, ваша милость?

– Понимаю, – простонал Крысиньский. – Не нужно вашей милости повторять.

– Отлично. А значит, до свидания, пан Крысиньский.

***5. Рахиль***

Дыдыньский вскочил со скамьи, услышав грохот копыт за окном. Его рука сама, совершенно непроизвольно потянулась к левому боку и бессильно опустилась. У него не было сабли. Не было пистолетов, коня или челяди. И всё же на крыльце творилось что-то недоброе. Он быстрым шагом направился к дверям в сени.

– Нет! – крикнула Рахиль. – Останьтесь, ваша милость.

– Твой отец в опасности!

– Не ходите туда, умоляю!

Он не обратил внимания на её слова. Он был уже у самого порога, но Рахиль оказалась проворнее. Одним движением она захлопнула дверь, задвинула засов. А потом обвила его шею руками, прильнула к нему, дрожа от горя и ужаса.

– Прошу, – прошептала она. – Не ходите туда... Вас убьют! Отец...

Он отстранил её. И тогда она закрыла ему рот поцелуем. Дыдыньский замер, обнял девушку.

– Останьтесь, – прошептала она и сплела руки у него на шее. – Не покидайте меня...

Он не мог ей противиться.

***6. Раковский катехизис***

– Мне нужна моя сабля и пистолеты. И добрый конь. Вооружите челядь, ваша милость, и отдайте под моё командование. Я немедленно выезжаю в Голучков. А вы, сударь, направляйтесь в Санок, подать протест. Через два дня я доставлю Паментовского в кандалах в темницу Перемышльского замка. Сломленного. Но живого.

Крысиньский покачал окровавленной головой.

– Вы ничего не понимаете, ваша милость. Я не одобряю вооружённого насилия. Я не могу согласиться на кровопролитие.

– Что вы такое говорите!? – вспылил сын стольника. – Чёрт возьми, перестаньте читать мораль и посмотрите на себя в зеркало. Вы сами жертва насилия со стороны Паментовского. Эти изгои приехали, как татары на сейм, чтобы выдавить из вас бакшиш, а если вы не дадите им денег, они готовы убить вас, сжечь ваш двор, обесчестить вашу дочь и повесить ваших братьев-христиан на порогах хат! У меня долг перед вами, и я охотно его оплачу, и бьюсь об заклад, что и вы будете рады, увидев голову этого бандита в руках палача!

– Гнев говорит через тебя, брат, – горько сказал Крысиньский. – Ты грешишь гордыней и гневом. Ты не Господь Бог, чтобы судить ближних. Паментовский поступает плохо, поэтому будет осуждён на Страшном суде. Но я не могу этого сделать.

– Хорошо, – проворчал Дыдыньский, – сделаем иначе. Отдайте мне мою саблю, а я соберу челядь и сам позабочусь о Паментовском. Поверьте мне, ваша милость, он скорее съест свой колпак, чем снова пришлёт сюда свою ватагу.

– Твоя сабля хорошо спрятана, пан Дыдыньский.

– Когда же я смогу её вернуть?

– Как только попросишь. Но помни, я не позволю, чтобы кто-либо в новом Иерусалиме носил при себе оружие, обагрённое кровью.

– А если я дам слово, что не буду её обнажать?

– Если хочешь саблю, я отдам её тебе. Однако тогда ты должен покинуть Иерусалим.

Дыдыньский замер. Он смотрел на Рахиль, промывающую рану на голове старого шляхтича, и молчал.

– Ей-богу, не понимаю я вас, христиан, – пробормотал он через минуту. – Знаю я, что разные есть на свете конфессии и веры. Не собираюсь я бить кого-то за то, произносит ли он сначала «Отче наш», а потом «Аминь», или наоборот. Мне нет дела до Пресвятой Девы или Святой Троицы. Но вы... не носите сабель. Отвергаете шляхетские привилегии, призываете прекратить войны. Именно это и породило многих, кто выступает против вас. Я уверен, что если бы вы раз-другой помахали саблей и усмирили нескольких крикунов, сразу бы нашлось для вас больше места в Речи Посполитой. И уважение бы имели среди братьев-шляхтичей.

– Сказано, брат: кто прольёт кровь человеческую, того кровь прольётся рукою человека: ибо человек создан по образу Божию. Всякое насилие и вооружённая агрессия приносят только новые убийства и ничего более. Сегодня ты убьёшь кого-то, а завтра родственник отомстит за его смерть. Послезавтра твой сын будет искать мести за тебя. Оставь саблю, оставь свою гордыню, и войдёшь в Царство Небесное, пан Дыдыньский.

– Значит, вы не будете, пан брат, подавать протестацию на Паментовского?

– Я его прощаю. Сказал Иисус Христос: кто ударит тебя в правую щёку твою, подставь ему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.

– И поэтому пишут на вас пасквили доминиканцы и иезуиты. Обвиняют, что турецкого султана ждёте, Москве благоволите. А то у вас есть тихари, которые предпочтут стать турками, чем славить единого в Троице истинного Бога.

– Веришь им, брат?

– Ни во что уже не верю. Когда был в Москве, видел такие вещи, что совсем усомнился в помощи и опеке самого Отца Небесного.

– Это плохо, пан Дыдыньский. Исповедовался ли ты в этом?

– Нет, милостивый пан Крысиньский. Потому что я всё ещё верю в одно.

– Во что, если позволено спросить?

– В то, что как шляхтич я должен здесь, в этом паршивом мире, что-то сделать.

– Похвально, брат. Что же это? Позволь угадать: разбивание голов панам-братьям на пиру? Похищение девиц? Дуэли? Пьянство до беспамятства? Порабощение крестьянок?

– Я защищаю тех, кто сам себя защитить не может. Правда, беру за это золото, хотя и не всегда. А иногда pro publico bono защищаю вдову, вырываю наследство для сирот у родни, побью задиру, дам в морду сутяге.

– И проливаешь кровь. Как те римляне, что пролили её из Иисуса на кресте. Не стыдно тебе, брат?

– А тебе не стыдно уговаривать нас, шляхту, чтобы мы сабли отложили и посохи в руки взяли? Не может Речь Посполитая разоружиться, а шляхта с коня сойти, чтобы с вами в молельнях часы читать. А знаешь почему?

Крысиньский молчал.

– Потому что тогда враги наши разорвут Речь Посполитую как кусок сукна. А знаешь, пан Крысиньский, брат польский, что случится, когда вместо старост и воевод, которыми вы так пренебрегаете, придут сюда Москва, немцы, шведы и турки? Что будет тогда с вашими молельнями? Сколько костров запылает на потеху толпе? Вы пренебрегаете должностями и достоинствами, унижаете Речь Посполитую, а ведь с ваших проповедников волос здесь не упадёт. Разве что по пьяни начнут буянить в корчме или чернь камнем в окно бросит. Ваши Москожевский, Шлихтынг, Вишоватый и Гославский свободно ходят и пользуются шляхетскими привилегиями. А что было бы с ними в Испании? Во Франции? Да, пан-брат, ты презираешь меня, потому что я бывший солдат, но такие как я, хоть и католики, защищают вас от изгнания и виселицы, которые вы познаете после падения Речи Посполитой. Вот так и назови мой долг.

Крысиньский молчал некоторое время. Прикусил ус.

– Если хочешь и дальше видеться с моей дочерью, милостивый Дыдыньский, то отрекись от сабли, достоинств и герба, – сказал он мрачно. – Я своего мнения не изменю.

Дыдыньский поднялся и вышел из комнаты.

– Пан сын стольника!

Шляхтич остановился в дверях.

– Я не буду ничего платить Паментовскому. Хотя, по правде говоря, у меня есть перед ним долг...

– Значит, всё-таки?

– Это не деньги.

– А что же это?

– Это моё дело, пан Дыдыньский. Но будь уверен, скорее Сан высохнет, чем Паментовский получит от меня хотя бы один талер.

***7. Клятва***

– Что с нами будет? – прошептала Рахиль, высвобождаясь из объятий пана Дыдыньского.

– Не знаю. Твой отец не очень-то меня жалует.

– Потому что ты не хочешь отложить саблю. Он не отдаст меня никому вне общины.

– Легко сказать. Мне отречься от почестей, привилегий? Бросить всё, даже свою честь и удаль?

– Ты не сделаешь этого ради меня?

– Будь я плебеем, холопом или мещанином, всю жизнь кроившим бархат и замшу, всё было бы гораздо проще. Но это не так. Знаешь ли ты, что для польского шляхтича значат конь, сабля, ночь в степи? Война, ссора, поединок? Бог создал нас рыцарями, так не будем противиться его воле. Понимаешь ли ты, что значит жить в опасности, когда каждый день рискуешь головой?

– Ты, наверное, не поверишь, но мой отец в молодости был таким же, как ты.

– Ну, ты меня удивила. Как это? Не может быть!

– А вот так и было. Пан Миколай Крысиньский бывал на войнах, и во всей Червонной Руси не знали более отважного рубаки. Ходил на Москву при короле Стефане, на татар, на взбунтовавшийся Гданьск.

– Тогда почему он примкнул к новокрещенцам?!

– Однажды в Саноке, – её голос перешёл в шёпот, – когда отец только-только женился на моей матери Анне, упокой, Господи, её грешную душу, он поссорился в корчме со своим лучшим другом. Ранил его в поединке в голову так, что тот чуть не испустил дух. Когда отец протрезвел, его охватило страшное раскаяние. Он молился, плакал, давал на мессу, сердце из груди вырывал, чтобы его друг выжил. И тогда Господь просветил его, послал ему силу исцеления. Отец вылечил раненого, но уже не вернулся к прежней жизни. Долго читал Священное Писание, жития святых, наконец, встретил пана Шлихтынга. И так стал христианином, отстегнул саблю, взял в руки посох и сменил Крысин на Иерусалим.

Дыдыньский задумчиво молчал.

– Что вы сделаете, если сюда снова приедет отряд Паментовского?

– А что мне делать, голову в песок зарыть, как тот африканский зверь с двумя головами в зверинце у пана канцлера под Замостьем? Кровь во мне кипит!

– Не затевай ссоры, пан Дыдыньский. Отец просил, чтобы ты не проливал ничьей крови. Если ты так поступишь, он посмотрит на тебя благосклонным оком.

– Раз ты этого хочешь. Я гость и не стану оскорблять хозяина.

– Дай слово!

– Нет!

– Прошу! – Она обвила его шею руками и поцеловала по-итальянски, то есть таким способом, который описал в своих стихах пан Даниэль Наборовский, а потом замазал в рукописи.

Этот аргумент подействовал.

– Хорошо, – прошептал Дыдыньский. – Я не буду создавать проблем, если Паментовский не даст повода твоему отцу. Торжественно обещаю это.

***8. Нарушенная заповедь***

Когда тяжёлые двери молитвенного дома открылись, и братья начали выходить наружу, люди Паментовского уже ждали их на другой стороне площади. Их было восемь, они щурились от солнца, поигрывая обнажёнными саблями и чеканами. Горячий ветер трепал полы их делий, бил в глаза песком и пылью. Увидев вооружённых людей, христиане замерли. Однако брат Крысиньский первым вышел во главе процессии.

– Не бойтесь, братья! – сказал он. – Господь защитит и поведёт нас. Идите смело за мной.

Польские братья склонили головы. А затем последовали за шляхтичем. Шли тесной группой, бормоча молитвы, обнявшись; прямо под поднятые клинки, на конские морды, обдаваемые насмешливыми взглядами бесчинствующих.

– Пан Крысиньский, подойдите сюда! – крикнул конный в мисюрке. – Или саблями вашу милость на разговор попросим!

Шляхтич не ответил. Он шёл, смешавшись с толпой, окружённый братьями по вере.

– Вперёд, господа! – скомандовал толстобрюхий пьяница.

Люди Паментовского бросились в толпу, хлеща нагайками, ударяя верующих плашмя саблями по головам и спинам, раскидали, растоптали крестьян и челядь. А затем вытащили из толпы сопротивляющегося Крысиньского, бросили его на землю перед конём кудрявого разбойника, добавив напоследок несколько пинков.

– Где деньги, пан брат?! – спросил бандит в мисюрке. – Где талеры? Давай! Сейчас же!

– Я вам ничего не должен! – ответил Крысиньский. – Оставьте нас в покое, братья.

Бесчинствующие переглянулись с недоверием. Толстый пьяница сплюнул сквозь сломанные зубы.

– Пан Козловский, убедите его, ваша милость, в нашей правоте!

Тот с прищуренным глазом хлестнул Крысиньского нагайкой по лицу. Старый шляхтич застонал, закрыл лицо рукой. Напрасно. Тут же на него посыпались пинки, удары, удары плашмя саблей. Он свернулся клубком, съёжился окровавленный, вскрикнул от боли.

Бандиты застыли над ним, запыхавшиеся, тяжело дышащие. Толстый шляхтич схватил Крысиньского за бритый затылок, дёрнул голову вверх, посмотрел в глаза.

– Плати, сукин сын! – рявкнул он. – Плати, шельма, проклятый предатель, язычник! Плати, или мы тебе двор сожжём, крестьян вырежем! Мы здесь сила, новокрещенец, богохульник, еретик!

– Никакой Дыдыньский тут на твою защиту не встанет! – захохотал конный. – Нет у тебя защитников, так что давай золото!

– Ничего не дам, – простонал Крысиньский. – Уходите прочь, братья!

Даже кудрявый присвистнул сквозь зубы.

– Упрямый, – прокомментировал тот с прищуренным глазом. – Что с ним теперь? Повесить? За конём поволочить? Двор сжечь?

– Староста может быть близко, – сказал толстый, который уже некоторое время наблюдал за окружающими их польскими братьями. – Погодите, братья, у меня для этой птички есть рецепт получше.

Он развернул коня, въехал в толпу христиан. Через мгновение вернулся, таща за волосы сопротивляющуюся и рыдающую... Рахиль!

– Это его дочь!

– Знатная и гладкая! – рыкнул самый молодой, с прищуренным глазом. Он спрыгнул с коня, кивнул слугам. Быстро толкнули девушку назад, пока она не ударилась спиной о бок коня завитого шляхтича, схватили за руки, удержали.

– И что теперь, пан Крысиньский? – спросил пьяница. – Даёте деньги, или нам украсть венок этой птички?!

В глазах старого шляхтича вспыхнул огонёк. Но ненадолго.

– Оставьте мою дочь, братья, – грозно сказал он. – Она невинная девушка!

– Если не заплатишь, будет виноватая! – рыкнул конный. – Даёшь выкуп, или нам показать ей, что значит любить по-католически?!

– Ничего вам не дам!

– Кто первый, господа братья?!

– Я! – кудрявый отозвался впервые. А потом наклонился в седле и одним быстрым движением разорвал жупан, обнажив грудь Рахили. Похотливо похлопал по ней, схватил грубо и жестоко.

Что-то свистнуло в воздухе. Кудрявый вскрикнул, схватился за правый глаз, вылетел из седла, рухнул в песок, изрытый копытами, прямо в вонючую кучу конского навоза.

Бандиты замерли. Сначала посмотрели на стонущего главаря, потом друг на друга, и только тогда обернулись.

Перед дверями молитвенного дома стоял Дыдыньский. Он был без сабли, без оружия. В правой руке ритмично подбрасывал большой камешек. И холодно улыбался.

Кудрявый поднялся со стоном. Из-под ладони, прижатой к правой глазнице, сочилась кровь, губы искривила гримаса ярости.

– Выбил мне глаз! – заорал он. – Сукин сын!

– Это Дыдыньский, сын стольника саноцкого, – сказал толстяк. – Что он здесь делает?

– Это заездник!

– Подстароста Хамец его ищет!

– Он напал на Загуж!

– Взять его! Живьём!

Первым рванулся в сторону пана Яцека конный в кольчуге. Челядинцы оттолкнули Рахиль и схватились за сабли. Бандит с прищуренным глазом и остальная разбойничья компания изготовились к бою.

Дыдыньский присел на пятки, уклоняясь от первого удара. Избежал широкого замаха сабли, а затем подскочил к противнику. Никто не запомнил его движений, никто не успел заметить, как он схватил конного за запястье, вывернул ему руку, ударил в живот, развернул назад и следующим ударом ноги отправил прямо под ноги товарищей.

– Довольно! – сказал сын стольника. – Вы, матерщинники, пугала для старух! Вы, татарские прихвостни! Уже достаточно посвоевольничали! Садитесь на коней и убирайтесь на большак! Там ваше место!

Плачущая Рахиль упала в объятия Гедеона.

– Уже всё хорошо! Хорошо, – прошептал он ей на ухо.

– Гедеон, беги! – простонала она. – Беги, любимый!

– Зачем?

– За саблей! – зарыдала она. – Принеси саблю твоего отца!

– Но как? Что отец...

– Иди! – она сильно тряхнула его. – Иди и принеси её!

Он больше не спорил. Повернулся и помчался к сараю.

Дыдыньский прыгнул к сабле, выпавшей из рук врага. Не успел. Прежде чем он добрался до оружия, бандит с прищуренным глазом первым наступил на неё ногой. А потом весело рассмеялся.

Сын стольника отступил. Он был один против четырёх изгоев, известных рубак и их прислужников. За спинами тех толпились польские братья – крестьяне и челядь. Однако никто из них не мог ничем помочь Яцеку.

– Пора в землю, пан Дыдыньский, – оскалился кудрявый, всё ещё держась за окровавленный глаз. – Кто бы подумал, пан сын стольника, что закончите под молитвенным домом еретиков.

– Бейте его! – простонал конный в кольчуге, с трудом поднимаясь на ноги. – У... убейте суки... на сына...

Они набросились на него со всех сторон, с саблями, чеканами и бердышами. Кто-то из слуг поднял ружьё и выстрелил. Дыдыньский пригнулся в последний момент. Пуля просвистела над его плечом, пробив дыру в дверях молитвенного дома.

Сын стольника увернулся от лезвия сабли, в последний момент обошёл разогнавшегося пьяницу. А затем вскочил внутрь деревянного храма, помчался к возвышению в конце зала, между двумя рядами деревянных скамей. Однако он побежал туда не для того, чтобы проповедовать Слово Божье. Одним движением он вырвал деревянный брус из спинки скамьи. А потом обернулся к преследователям.

Люди Паментовского набросились на него со всех сторон. Дыдыньский закрутил в руках брус, отбил удары; ударил по голове толстого шляхтича, выбив из него дух. А потом шест треснул в его руках, разрубленный саблей кудрявого. В последний момент заездник увернулся от его сабли, повалил одного из челядинцев. И вонзил сломанный конец жерди прямо в живот пьянице.

Раненый завыл, захрипел, упал на колени, перекатился на бок, не выпуская из руки саблю, схватился за скамью, пытаясь встать, опрокинул её, сдвинул и так замер, ударившись головой о деревянные доски пола.

Вдруг что-то звякнуло под ногами Дыдыньского. Окружённый врагами, он глянул вниз и увидел блестящий клинок. Длинная изогнутая сабля с простой крестообразной гардой и полукруглым палюхом. Он тотчас узнал её из рассказов отца, вспомнив времена, когда пан Крысиньский ещё не сменил оружие на посох новокрещенцев.

Быстро как молния он схватил саблю.

А потом обрушился на своих врагов.

Он налетел на них как ястреб на стайку цыплят. Заглядывающие через ворота крестьяне услышали только три звонких удара стали, увидели только три вспышки лезвия. А сразу после этого холодный клинок прорубил незащищённую кольчугой шею. Шляхтич в мисюрке завыл, хватаясь за разрубленное плечо, сделал четыре нестройных шага к выходу и упал лицом вниз. Красная кровь хлынула из его ран, брызнула обильно из разрубленной артерии, орошая белые стены молитвенного дома, пыльные доски пола; изгваздала красными пятнами оставленный на скамье Раковский катехизис пана Москожевского.

Поднялся крик, когда Дыдыньский проскользнул между опускающимися лезвиями, а затем быстрым ударом отрубил по локоть руку одному из слуг. Покалеченный завыл, схватился за обрубок, брызжущий кровью, бросился вперёд, споткнулся об одну из скамей, упал на пол, метался там, ревел и дрожал. Заглядывающие через открытые ворота польские братья заламывали руки, хватались за головы, а некоторые рыдали.

Дыдыньский не смотрел на них. Перед ним всё ещё было пять противников.

Ещё один прихвостень с грохотом рухнул на пол, получив удар в висок. Он попытался подняться, но сил уже не хватило. Шляхтич продолжал биться. Ловко уклоняясь от ударов, он проскальзывал под лезвиями сабель. Схватка кипела среди разваленных скамей, в лужах крови, между посечёнными балками, подпиравшими крышу собора. Дыдыньский прорвался сквозь строй противников. Одним махом рассёк живот шляхтичу с прищуренным глазом, отправив его на колени, а затем добил ударом милосердия, походя рубанув по голове. Жизнь покинула бедолагу так же быстро, как гаснет свеча, когда подвыпивший шляхтич в корчме лихо срезает фитиль перед продажными девками. Тут же ещё один прихвостень пал, пронзённый саблей в грудь. Последний, с раненой рукой, кинулся к выходу, расталкивая польских братьев. Те шарахались от него, как от прокажённого. С диким криком беглец помчался к лошадям.

Они остались одни, вдвоём. Дыдыньский и меченый с завитыми кудрями.

– Приветствую, пан Жураковский, – пробормотал молодой рубака.

– Милостивый пан Дыдыньский, – ни одна жилка не дрогнула на лице меченого, когда он произносил эти слова, – много говорили мне в Саноке о вашей милости, но из того, что я вижу, ты настоящий мастер сабли. Передать кому-нибудь что-нибудь после твоей смерти?

– Передай привет...

– Кому?

– Прочим Жураковским в аду!

Они сошлись в центре собора. Жураковский отбил удар клевцом, приняв его на окованную железом рукоять. Правой рукой он молниеносно рубанул саблей снизу. Дыдыньский увернулся с дьявольской ловкостью и хлестнул меченого по виску. Промахнувшись, он тут же отразил саблей удар клевца Жураковского, но не сдержал стона, когда вражеская сабля распорола ему рукав жупана, оставив порез на руке.

Дыдыньский крутанулся в стремительном пируэте, нанося удары влево, вправо, крест-накрест. Жураковский поймал его лезвие между рукоятью клевца и клинком сабли, сжав их, чтобы лишить противника возможности высвободить оружие. Мгновение они боролись, не уступая друг другу. Затем Жураковский неожиданно развёл руки, освобождая клинок Дыдыньского, и нанёс полукруговые удары – одновременно клевцом и саблей снизу наискось.

Он не понял, что произошло. Не успел среагировать. Не смог ни уклониться, ни защититься. Лишь увидел несущееся к нему лезвие сабли и раскрыл рот для крика.

Но издать звук уже не успел.

Дыдыньский рубанул по шее, молниеносно крутанулся и нанёс свистящий удар. Кудрявая голова меченого, отделившись от тела, покатилась с гулким стуком, словно пустая бочка, к входу в собор. Она катилась, постепенно замедляясь, пока не выкатилась наружу между польскими братьями, которые с криками отпрянули в стороны. Наконец, голова замерла у ног пана Крысиньского.

Старый шляхтич, хромая и истекая кровью, еле волоча ноги, вошёл в собор. Дыдинский ждал его, сжимая окровавленную саблю. Вокруг валялись тела убитых, всюду виднелись пятна крови и обломки мебели. Воздух пропитался запахом смерти. На полу, хрипя и постанывая, умирал толстый пьяница. Неподалёку Жураковский бился в последних судорогах – или, может, начинал свой первый танец со смертью. Остальные лежали тихо и неподвижно, навеки примирившись с Богом в этом соборе новокрещенцев.

Крысиньский тяжело вздохнул, покачав окровавленной головой, и опустил взгляд.

– Верните саблю пану Дыдыньскому, – проговорил он тихо. – И седлайте моего коня. Сын стольника нынче покидает нас. Навсегда...

– Отец! – вскрикнула Рахиль. – Отец, молю вас!

– Пан Дыдыньский больше не гость в нашем доме. Его люди ждут его в корчме в Лиске. Сыну стольника не место в Иерусалиме – он не способен жить по нашим законам.

– Но он же спас нас!

– Довольно! Я всё сказал.

Дыдыньский медленно направился к Крысиньскому, осторожно обходя тела убитых. Чуть не поскользнувшись в луже крови, он протянул саблю рукоятью вперёд. Старый шляхтич даже не шелохнулся.

– Оставьте её себе, пан. Эта сабля – причина моих бед. Мне она больше ни к чему.

Не проронив ни слова, Дыдыньский направился к выходу. Он не обернулся ни к старому шляхтичу, ни к Рахили.

***9. На помощь!***

– За нами кто-то едет! – прошептал Сава.

– Прячемся между деревьями!

Они разъехались в разные стороны, укрывшись в чаще могучих старых буков. Не прошло и минуты, как Дыдыньский услышал приближающийся топот копыт. За его спиной Миклуш выхватил револьвер и ловко взвёл все курки. Сава притаился с другой стороны узкой дороги.

Вдруг на повороте тракта показался взмыленный белый конь. Дыдыньский вздрогнул, увидев в седле Рахиль. Он выскочил на дорогу, преграждая ей путь.

– Сударыня!

Она так резко осадила коня, что тот заржал, встал на дыбы и гневно мотнул головой. Девушка подъехала ближе.

– Что ты тут делаешь?

Она стремительно бросилась ему на шею. Шляхтич машинально обнял её, прижав к груди.

– Я сбежала от отца, – всхлипнула она. – Пан Дыдыньский, умоляю, спаси нас! Паментовский всё знает! Еврей из Голучкова приехал – грозится сжечь усадьбу и убить отца. Спаси! Не дай нас в обиду. В нашем Иерусалиме никто не сможет защититься. Он нас убьёт... Я...

– Твой отец не желает меня видеть.

– Отец погибнет, если ты его не спасёшь.

– Вряд ли я буду у вас желанным гостем.

– Прошу, спаси его. Забудь, что он говорил. Спаси, и я поеду с тобой куда угодно. Если отец будет против, мы сбежим... хоть на Украину!

Дыдыньский задумался, помолчав.

– Ладно, – наконец сказал он. – Господа, едем в Иерусалим!

***10. Иерусалим***

– И сказал Господь: если и после этого не послушаете Меня и пойдёте против Меня, то и Я в ярости пойду против вас и поражу вас всемеро за грехи ваши, и рассею вас между народами, и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши разрушены.

– Ваша милость, пощадите! – воскликнул дрожащим голосом слуга. – Я ни в чём не виноват.

Седой шляхтич в чёрном низко склонился над парнем. Схватил его за кафтан на груди, заглянул прямо в глаза. Слуга задрожал. Он уставился на страшный шрам, пересекавший лицо пана: от лба через глазницу и щёку, почти до самого подбородка. Этот след от раны, казалось, рассекал лицо шляхтича надвое.

– Пан Крысиньский в деревне? Мы едем с визитом.

– Во дворе сидит, раны лечит... Ваша милость, не причиняйте мне вреда, я просто...

– Ты католик или еретик?

– Я... я не примкнул к еретикам, пан. Я верный...

– Тогда читай Символ веры. Говори, мальчик. Веруешь ли ты в Пресвятую Троицу?

– Верую в Духа Святого, Господа Животворящего, Который от Отца и Сына исходит... Верую во единую, святую, вселенскую... Церковь. Исповедую одно крещение во оставление грехов... – пробормотал парень.

Паментовский выпрямился в седле.

– Ты ошибся, – мрачно сказал он. – Ошибся в Символе веры, сукин сын. Должно быть: вселенскую и апостольскую Церковь. Ты лжец!

– Господин, помилуй...

Сабля Паментовского свистнула в воздухе, рассекла шею слуги, выпустив из вен две кварты крови. Юноша упал навзничь, задрожал, захрипел.

– Господа, в путь!

Они помчались галопом по тракту, ведущему вниз, в долину. Пронеслись мимо мельниц, плотины и прудов, пока, наконец, перед ними не показались серые крыши предгорных хат, окутанные дымом, сочащимся сквозь солому. Дальше, среди деревьев, замаячила крытая гонтом крыша усадьбы Крысиньского.

Они сбавили ход, въехав между разбросанных вдоль тракта дворов, а затем свернули на дорогу, ведущую к шляхетскому поместью. Ехали рысью – впереди Паментовский с чётками в руке, за ним все его товарищи – могучие, молчаливые рубаки в тяжёлых делиях, жупанах, рейтарских плащах; в волчьих колпаках, капюшонах и шапках.

Паментовский закончил читать молитву и перебирать чётки, засунул их за пазуху. А потом схватился за рукоять сабли-баторовки. Клинок свистнул, выходя из смазанных ножен, блеснул на солнце.

– И вот придут дни Господни, – сказал он, – и будут делить добычу твою посреди тебя. И соберу все народы к Иерусалиму... – он замолчал. Перед усадьбой стоял шляхтич на коне. Он не убежал при виде вооружённых людей, даже не шелохнулся. Спокойно грыз красное яблоко. При его виде Паментовский и его компания остановили коней. И тогда шляхтич откусил сочный кусок фрукта, а потом небрежно бросил его в сторону приближающихся налётчиков. Яблоко описало дугу и полетело в сторону Паментовского, но мрачный шляхтич даже не пошевелился.

Фрукт упал прямо перед ним, покатился в дорожной пыли и замер в нескольких шагах от копыт его коня.

– Убери оружие, сударь. Усадьба окружена стражей, и если кто-то из вас пересечёт эту линию, его встретит пуля из ружья или бандолета.

Паментовский ничего не сказал. Кивнул одному из слуг. Тот пришпорил коня, выдвинулся вперёд, медленно подъехал к линии, обозначенной яблоком, а затем неспешно пересёк её.

Грянул выстрел из револьвера Миклуша. Пуля сдула рысий колпак с головы челядинца. Конь заржал, встал на дыбы, ударил передними копытами о землю.

– Я предупреждал вас, господа, что вам здесь нечего делать. Убирайтесь прочь, ибо эта усадьба под моей защитой.

Паментовский хрипло рассмеялся. Его смех звучал как хрип умирающего, как мрачный хохот смерти, которая как раз готовилась утащить в пляс очередную шляхетскую душу.

– Уйди с дороги, пан Дыдыньский. Не тебя мы ищем.

– Но я стою на страже хозяина! Пока я жив, ваша нога не ступит на порог.

Один из людей Паментовского дёрнул за рукоять пистолета. Другой поднял ружьё, не дожидаясь приказа своего господина.

Два выстрела сотрясли воздух. Слуга, раненный в руку, с криком выронил оружие, челядинец свалился с седла, когда пуля пронзила его бок. Кони заржали, мотнули головами. Налётчики схватились за сабли и пистолеты, но Паментовский поднял руку, давая знак сохранять спокойствие.

– И сказал Господь: Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Врёшь ты, пан Дыдыньский, как последняя собака. Крысиньский никогда бы не доверил тебе защиту усадьбы!

– Я сам вызвался. По доброй воле, пан-брат. Бог зачтёт мне это доброе дело на небесах.

– Господь низвергнет тебя в адскую бездну за то, что защищаешь усадьбу еретиков.

– И вашу милость с собой прихвачу, если не отступишь.

– Сожжём дотла храм ереси.

– Если выживете.

Паментовский молчал. Его глаза были совершенно пусты, как у снулой рыбы, дохлой собаки или убитого на поле битвы коня.

– Сразись со мной, пан Паментовский. Выживешь – впущу тебя в усадьбу. Я выживу – позволю тебе уехать с миром.

– Я встаю только на смерть. Войду в усадьбу по твоему трупу.

– Становись!

– Что ж, извольте.

Паментовский спрыгнул с коня, откинул назад рукава делии, отдал поводья слуге и двинулся к усадьбе, звеня шпорами.

– И сказал Господь, – запел он, – соберу все народы к Иерусалиму на битву, и взят будет город, и разграблены будут дома, и женщин обесчестят...

Они скрестили сабли без лишних церемоний. Перед усадьбой, у ступеней, ведущих на крыльцо. Паментовский рубанул в грудь, Дыдыньский отбил, ответил рубящим ударом, его противник съёжился, ударил в живот.

– И выйдет половина города в плен, а остаток народа не будет изгнан из города, – прохрипел Паментовский.

Они сражались. Сабли мелькали как молнии, сталкивались со звоном, со свистом рассекали воздух. Влево, вправо, снизу, в кисть, в грудь. А потом парирование, дьявольски быстрый удар из четвёртой позиции, ещё удар, ещё...

Дыдыньский слишком сильно наклонился, потерял равновесие. Паментовский отступил, избежал удара противника молниеносным контрвыпадом, хлестнул его по кисти, по голове, залив кровью. Сын стольника вскрикнул, припал к земле, и тогда противник добавил ему по плечу и правой руке.

– И выйдет половина города в плен, а остаток народа не будет изгнан из города... И выйдет Господь и будет сражаться против тех народов, как Он сражался в день битвы!

Дыдыньский рухнул на землю. Хотел встать, но уже не успел. Паментовский ударил дважды, выбил у него оружие из руки пинком, а затем прижал к горлу лезвие баторовки.

– Пора умирать, милостивый пан-брат, – прохрипел он. – Что кому передать, прежде чем отправлю тебя в ад?!

– Оставь его!

На крыльце усадьбы стоял Крысиньский. Бледный, с головой, перевязанной полосами корпии. Рядом съёжилась испуганная Рахиль. Увидев Дыдыньского, она хотела броситься к нему, но сильная рука отца удержала её на месте.

– Пан Крысиньский, – пробормотал Паментовский. – Как давно я не видел вашу милость.

– Чего ты от нас хочешь? Насылаешь на нас своих людей! Требуешь бакшиш! За что, пан Паментовский? За то, что когда-то я был тебе другом? За то, что вымолил у Господа твоё здоровье? Что исцелил тебя от страшной раны?

Гневная судорога пробежала по лицу Паментовского. Он искривил губы в гримасе ярости, его шрам потемнел, налился кровью.

– Ты исцелил меня, а прежде жестоко изувечил в ссоре, пан-брат, – процедил он сквозь стиснутые зубы. – Не могу тебе этого забыть. Поэтому теперь, когда ты стал шельмой, еретиком, костуровцем, ты будешь платить. Платить мне за это до конца жизни. Иначе сожгу твою усадьбу, убью дочь, вырежу крестьян, уничтожу твой Иерусалим так, что не останется от него камня на камне!

– Ведь я мог тогда в Саноке, тридцать лет назад, оставить тебя на улице как издыхающую собаку. Но я дал обеты, и как раньше убивал за деньги, так тогда пошёл лечить шляхту и простой люд.

– И отложил саблю. Ты трус до мозга костей, пан Крысиньский. А я привык давить таких, как ты, словно ядовитых насекомых. Ну же, сукин сын, на колени! Проси прощения! И плати, тогда, может быть, сохраню жизнь Дыдыньскому! Десять тысяч червонцев!

– Не заплачу!

– А что ты сделаешь, предатель, если я перережу глотку вот этому твоему слуге? Если твою дочь отдам моим гайдукам на потеху? Защитишься? Ведь ты сабли не носишь.

– Ошибаешься, брат. Защищусь, потому что... я изменился.

Одним стремительным движением Крысиньский поднял с земли саблю, выпавшую из рук Дыдыньского. Изготовился к схватке.

Паментовский оскалил жёлтые, щербатые зубы. Отступил, освобождая пространство. Крысиньский напал на него с саблей, ударил, встал в защиту, отскочил и снова атаковал, легко, быстро и ловко, как рысь – несмотря на свой возраст.

– Не справишься! – прошипел Паментовский. – Ты слишком стар, слишком мед...

Сабля засвистела в руке Крысиньского, когда он парировал и раскрутил «мельницу». А потом начал бить. Бить изо всех сил, как старый рубака, без передышки и без пощады. Паментовский отступал, отчаянно защищался, а потом всхлипнул, зарыдал, завыл!

Ещё мгновение! Крысиньский перебросил оружие из правой руки в левую! А потом ударил, рубанул Паментовского по голове, параллельно старому шраму, задержал саблю и, выходя на удар, вонзил её в живот.

Паментовский взвыл. Упал на колени, выронил саблю, опёрся на руку. Кровь запятнала его чёрный жупан, стекла на траву, на серую землю.

– Пощади, – простонал Паментовский. – Исцели меня... Кры...

Он вскрикнул от боли, схватился обеими руками за живот.

Крысиньский сделал шаг в его сторону.

– Нет! – простонал Дыдыньский. – Нет, господин...

Окровавленная рука Паментовского метнулась к голенищу сапога и вылетела оттуда быстро, как змея. Крысиньский заметил в его руке чёрный, блестящий предмет, бросился в сторону, и тут кто-то кинулся перед ним, заслонив его собственным телом...

Выстрел был таким громким, что старый шляхтич подпрыгнул. Одним прыжком он настиг Паментовского, а потом ударил, разрубая ему шею, рубя глубоко, перерезая вены и сухожилия. Поверженный захрипел, рассмеялся свистящим смехом, когда воздух вышел из его лёгких. Выпрямился, выронил пистолет из рук, а потом рухнул лицом вниз и так и остался лежать.

Рахиль лежала на боку, тяжело дыша. Струйка крови стекала из её рта. Крысиньский со стоном бросился к ней, схватил на руки, поднял.

– Рахиль, – зарыдал он. – Моя маленькая Рахиль... Что с тобой...? Моё сердце, моя принцесса...

– Исцели её! – простонал Дыдыньский. – Сейчас! Немедленно.

Шляхтич положил дочь на крыльцо. Быстро разорвал её бекешу на груди, обнажив красное отверстие от пули, из которого хлестала кровь. Опустился на колени и приложил руки к её телу...

А когда отнял их, алая кровь и не думала останавливаться. Рана не затянулась! Рахиль задрожала, застонала. Крысиньский схватился за подбритую голову, две слезы скатились по его загорелому лицу.

– Отец... про... прости... – прошептала она. – Я... я...

Рахиль не договорила. Её хрупкое личико побелело, глаза медленно закрылись.

– Не могу! – вскричал Крысиньский. – Я потерял дар, о Господи! Почему? За то, что пролил кровь?!

Он закрыл лицо руками, сломленный, и сидел так рядом с телом своей дочери. А потом взял её на руки, как ребёнка, встал и повернулся к свите Паментовского. Медленно переводил взгляд с одного загорелого лица на другое. Шляхтичи и слуги опускали головы, избегая его глаз. А потом один за другим начали поворачивать коней и уезжать со двора. Никто не оглянулся на тело своего господина и предводителя. Никто не потянулся за саблей или чеканом.

Крысиньский вошёл во двор, неся тело дочери на руках.

***11. Эпилог***

Они отправились в путь вечером того же дня, когда предали тело Рахили земле. Дыдыньский ехал впереди, за ним следовал Крысиньский с мрачным лицом и чёрной саблей на левом боку. Поднявшись на холм, Крысиньский придержал коня и обернулся, чтобы в последний раз окинуть взглядом Иерусалим.

– Пан Дыдыньский.

– Да, пан-брат?

– Я больше никогда сюда не вернусь.

Молодой шляхтич молча кивнул.

– Я совершил тяжкий грех. Пролил кровь. И Господь справедливо наказал меня, отняв свой дар. Я недостоин помогать людям. Оставляю Иерусалим на попечение сына.

– Прости меня, пан-брат, – глухо произнёс Дыдыньский. – Во всём виноват я. Из-за меня погибла Рахиль, я нарушил покой твоей деревни. Прости. Я твой должник.

– Что сделано, то сделано, – тихо ответил Крысиньский. – Ты вернулся, чтобы помочь мне, и не потребовал ничего взамен.

– Но я разрушил Иерусалим.

– Ты увозишь в своём сердце частицу этого места, пан-брат. Не дай ей растаять, как снег в Бескидах. И... продолжай делать то, что делаешь. До самого конца.

– Прощайте, пан Крысиньский.

Старый шляхтич развернул коня в сторону Санока, кивнул челяди и пустился галопом прямо к долинам.

# Под Весёлым Висельником

***1. Страшилки по-польски***

Дождь тихо шелестел в кронах деревьев по обе стороны тракта. Сумерки сгущались; моросило весь день, превратив дорогу в скользкое месиво из глины, луж и раскисшей грязи. Словом, погодка – не приведи Господь.

Яцек Дыдыньский плотнее запахнул подбитый мехом плащ. Конец мая на дворе, а дожди льют уже две недели без продыху. Он с досадой стряхнул капли с шапки. Роскошное цаплиное перо прилипло к рысьему меху. Молодой шляхтич выругался сквозь зубы. Ох и не любил он непогоду, да и Мазовию, как всякий истинный русин, на дух не переносил, а теперь вот приходится тащиться по её паршивым трактам. Вдруг шляхтич осадил коня. Справа, в лесу, мелькнула поляна. Почудилось, будто там промелькнуло что-то крупное, тут же растворившееся во мраке между стволами. Он положил руку на рукоять торчащего из-за пояса пистолета. Хоть бы не отсырел, чёрт побери.

– Что стряслось, пан? – тихо окликнул ехавший сзади Савилла. Он завертел головой, но даже его острый взгляд не мог пронзить кромешную тьму. – Никак волки?

– Что-то другое, – прошептал Дыдыньский. – Здоровое. Может, человек?

– А ну-ка, глянем.

Они осторожно свернули с дороги. Въехали на небольшую полянку. Темень – хоть глаз выколи; конь Дыдыньского нервно дёрнул удила, испуганно всхрапнув.

– Вроде пусто... – пробормотал шляхтич. Он остановил коня в шаге от едва заметной, заросшей бурьяном ямы. Прищурился и тут различил среди сорняков что-то белое. Спешился, наклонился над ямой, держа поводья в руке, а затем нашарил и поднял длинную берцовую кость. Поднёс к глазам – вроде тёмные пятна виднеются. Кровь... Только чья – человечья али звериная? Не разобрать в такой темени. Вдруг он замер. Что-то его насторожило в этой кости. Сломана она как-то чудно. Так-так... Давным-давно он видел, как палачи выбрасывали из старого колодца под виселицей останки казнённых. Там тоже были эдак расколотые кости – остатки голеней бедолаг, которых колесовали.

Он отшвырнул кость. Пошарил среди останков и вдруг пальцы нащупали какую-то железку. Поднёс к глазам – шляхетский перстень-печатка. Даже и не пытался герб разглядеть – куда там в такой темнотище.

– Ну что там, пан? – подал голос Савилла.

Дыдыньский вскочил в седло. Развернул коня к дороге.

– Кости, – буркнул он. – А чьи – хрен разберёшь. Темно, как у чёрта в заднице. Ещё перстень нашёл. Вроде шляхетский. Поехали отсюда, Савилла.

***2. Корчма на болотах***

Лес вскоре закончился. Перед Дыдыньским и Савиллой внезапно открылось обширное пустое пространство – обычное поле, заросшее сорняками. Дождь и не думал прекращаться – наоборот, морось сменилась ливнем. Вокруг почти ничего не было видно. Дыдыньский подумал, что неплохо бы найти поблизости какую-нибудь корчму.

И словно по волшебству, корчма оказалась неподалёку. Вскоре молодой шляхтич заметил где-то в поле слабый жёлтый огонёк. Он тут же пришпорил коня, и вскоре они с Савиллой оказались перед мрачным строением под соломенной крышей. Таких постоялых дворов было мало на Червонной Руси, откуда был родом Дыдыньский. Там корчмы – большие, с просторными навесами – выглядели куда презентабельнее, чем иной шляхетский двор в Мазовии. В темноте Дыдыньский едва разглядел выцветшую вывеску. Корчма называлась «Под Весёлым Висельником». Название, мягко говоря, не внушало оптимизма, но выбора не было. Он спешился и принялся колотить кулаком в окованные железом ворота.

– Кого там черти принесли?! – раздался изнутри грубый, неприятный голос. – Кто там?

– Гости!

– Какие ещё гости?

– Благородного происхождения, хозяин!

Через мгновение дверь слегка приоткрылась. В щели блеснул свет, и пан Яцек увидел чёрное, расширяющееся воронкой дуло мушкетона.

– Позаботься о наших конях, любезный! – буркнул он, несколько опешив от такого «гостеприимства». В щели над дулом маячило бородатое, мрачное лицо хозяина заведения.

– Сколько вас?

– Двое.

Дверь распахнулась шире, и Дыдыньский обомлел. Корчмарь возвышался над ним на добрые две головы. Широкий в плечах, словно медведь, он напоминал настоящую гору мышц. Глядя на трактирщика, Дыдыньский понял, зачем изобрели тяжёлые мушкеты и короткие ружья для пехоты. Хотя, пожалуй, с этим человеком справился бы разве что фальконет, заряженный доброй картечью. Могучее брюхо трактирщика смахивало на пивную бочку. Обтягивающий его фартук был заляпан чем-то подозрительно напоминающим кровь. От трактирщика исходила такая зловещая аура, что Дыдыньскому почудилось, будто его обдало ледяным холодом.

– Ясек, займись конями... господ! – хозяин произнёс последнее слово с явной издёвкой, хотя, может, Дыдыньскому просто показалось.

– Э-э... Э-э... – раздалось сзади. Мимо корчмаря протиснулся хромой подросток с длинными чёрными волосами. – Э-э...

– А благородных господ прошу внутрь!

Дыдыньский передал поводья слуге. Корчмарь отступил в сторону, пропустил его в сени и указал на открытую дверь. Дыдыньский вошёл в мрачную комнату, освещённую тусклым светом светильника. Сразу бросилась в глаза царящая здесь запущенность. Столы и стойку покрывал толстый слой пыли, по углам свисала паутина. Посуда на прилавке покрылась грязным налётом. Они обменялись с казаком красноречивыми взглядами. Эта корчма с первого взгляда вызывала отвращение. Но за окном лил проливной дождь, а в трубе завывал ветер. В конце концов, он всё же предпочёл эту дыру ночёвке в чистом поле.

– Эй, трактирщик! Подай-ка нам мёду да чего-нибудь пожевать! – буркнул пан Яцек. – Да пошевеливайся, чёрт побери!

– Мёду? Могу и что-нибудь покрепче организовать...

– Ну тогда тащи горилку. Живо согреемся!

– Какую изволите, сударь? – произнёс корчмарь таким зловещим тоном, что Дыдыньский невольно поёжился. – У меня разные сорта имеются...

– И какие же?

– Висельная, колёсная, костяная, черепная, кандальная и палёная. Все по моим фирменным рецептам!

– Хм... Что-то многовато, – озадаченно протянул Савилла. – А что чувствуешь после этой, как её... висельной?

– Каждого над землёй вздёрнет, болтаться начнёшь.

– А колёсная?

– Так переломает, что и дружки домой не дотащат.

– Ну а костяная? – поинтересовался Дыдыньский. – Может, это та чёрная жижа, что из-под земли возле Кросно добывают? Мужики ею оси телег мажут, а бывает, что и пьют. Только от неё загнуться недолго.

– Такая забористая, что от человека одни кости остаются. В Кракове её некромантской кличут. А от черепной у многих башка трещала похлеще, чем с плахи слетевшая.

– Кандальная?

– Эта, – корчмарь слегка усмехнулся, но как-то жутковато, – эта в моей корчме навеки всякого оставит...

Дыдыньский промолчал. Но эти слова ему ой как не понравились.

– Ладно, неси костяную, трактирщик. Хоть кости нам согреет. И мёду к ней.

– Сию минуту!

Корчмарь развернулся и скрылся за дверью. Савилла склонился к уху своего господина.

– Ох, не нравится мне это... – прошептал он. – Этот тип, похоже, тёмная личность...

Дыдыньский кивнул. Толстый трактирщик вновь появился, на сей раз неся под мышкой жбан мёда, а в руке – бурдюк с горилкой. Он поставил на стол две чарки и два стакана, а затем наполнил их.

Они выпили. Горилка оказалась забористой. Она обжигала нёбо. Трудно было понять, подмешано ли в неё что-то. Что-то такое, от чего, как вдруг подумал Дыдыньский, и впрямь от человека одни кости остаются. Кости, зарытые в яме посреди леса...

– Пейте, пейте, господа! – подбадривал шинкарь. Дыдыньский осторожно отведал мёда и замер. В крепком двойняке он учуял какую-то примесь. Вроде корешков или ещё какой-то приправы. Он отставил недопитый стакан. Посмотрел на корчмаря. Тот стоял неподвижно, уставившись на пьющих. Загораживал путь к двери. Дыдыньский пожалел, что оставил пистоль при седле. При себе у него была только сабля. «Трактирщик-то жирный, – подумал он, – небось, неповоротливый... Может, кинжалом?» Однако он опасался, что в случае заварушки холодное оружие может оказаться бесполезным. В конце концов, какой удар нужно нанести, чтобы пробиться через такую тушу жира и мяса?

Он многозначительно подмигнул Савилле. Казак понял намёк, не допил мёд. Увидев это, корчмарь беспокойно заёрзал. Неужто в мёде и впрямь что-то было? Дыдыньский решил не рисковать.

– Давай теперь жратву, хозяин. Что у тебя там на огне?

– Кролик по-палачески, капуста обычная, капуста рубленая с мясом, кролик потрошёный с кашей, колбаса... белая как скелет и колбаса обычная, дичь, ну и дичь по-палачески.

– Эка невидаль?! – удивился Дыдыньский. – Тащи-ка нам этого кролика по-палачески...

Корчмарь неторопливо удалился на кухню. Молодой шляхтич глянул на слугу-казака.

– Держи ухо востро, Савилла. Что-то неладное тут творится.

– Кровь на полу, пан. Гляньте! – прошептал тот в ответ.

Дыдыньский пристальнее вгляделся в пыльные, растрескавшиеся доски. И верно, от стола, за которым они сидели, тянулась к двери цепочка едва заметных бурых пятнышек. Будто там волокли кого-то истекающего кровью. Пан Яцек снова вспомнил о костях, которые они нашли в яме на поляне. Эта корчма ему определённо разонравилась.

– Э-э-э... Э-э-э...

Вошёл Ясек, неся блюдо с жарким. Кролик по-палачески выглядел вполне обычно – зажаренный на вертеле. Однако голову отрубили от туловища и положили чуть поодаль. Дыдыньский попробовал мясо. Оно оказалось отменным, щедро приправленным шафраном и пряностями.

– Э-э-э... Э-э-э...

Шляхтич внимательнее присмотрелся к немому. Когда Ясек открыл рот, Дыдыньский увидел там лишь несколько почерневших зубов и красную пустоту. У слуги не было языка. Скорее всего, его вырвали клещами за какую-то провинность.

– Что, не по нутру вам, сударь?!

Вопрос прозвучал так неожиданно, что Дыдыньский чуть не выронил куриную ножку, которую держал. Корчмарь появился словно из воздуха. Он окинул едоков странным прищуренным взглядом.

– Ясновельможный пан мало мёду отведал! – прогремел хозяин. – А ведь у меня самый лучший во всём Груецком повете! Ясек, подлей господину!

– Э-э-э... Э-э-э...

Дыдыньский, хочешь не хочешь, отхлебнул напитка. В голове снова мелькнуло подозрение, что мёд отравлен. Корчмарь что-то шепнул Ясеку на ухо, и слуга, прихрамывая, вышел.

– Отчего ваш холоп не говорит? – спросил Яцек.

– От рождения немой, – неохотно буркнул корчмарь.

Казак вдруг поднялся.

– Где тут отхожее место?

– В конюшне. Через корчму пройти надобно.

– Выпейте с нами, хозяин! – предложил Дыдыньский, желая отвлечь внимание корчмаря. Казак неторопливо направился к двери. Его движения не выдавали тревоги, но на самом деле он внимательно разглядывал следы разбрызганной крови на полу. Они были слишком явными, чтобы их не заметить. Выйдя из светлицы, казак оказался в коридоре, пересекающем всю корчму от главных ворот до возовни, именуемой станом. Напротив дверей гостевой комнаты находился вход в кухню, а когда он повернулся к конюшне, то справа миновал ещё одну дверь – отворённую и ведущую в каморку, где заметил лавки, покрытые шкурами. Напротив, слева, виднелся вход в какое-то другое помещение. Туда и вёл зловещий след из капель крови. Туда, должно быть, затащили тело...

Савилла осторожно коснулся ручки двери. Нажал, и тут что-то вырвало её из его руки. Дверь резко распахнулась. За ней оказалась, видимо, кладовая – небольшое тёмное помещение, заставленное бочками, мешками, увешанное под потолком окороками и пластами копчёностей. Но на пороге стоял придурковатый Ясек с окровавленным тесаком в руке. Казак замер.

– Э-э-э... Э-э-э...

Молниеносно казак выхватил саблю. Он отступил, но слуга стоял неподвижно. Зато Савилла вдруг почувствовал, что его спина упёрлась во что-то мягкое и пронзительно холодное, нечто, что вовсе не собиралось уступать и оказало сопротивление...

Это был живот корчмаря. Трактирщик стоял прямо за казаком, сжимая в руке окованную дубинку.

– Это ты, сударь, в нужник сюда намылился?

– Обознался я... Ведь он должен быть возле конюшни.

– Эй, корчмарь! Ты не ответил на мой вопрос! – раздался голос Дыдыньского. Молодой шляхтич стоял в дверях светлицы. Его правая рука небрежно лежала на рукояти чёрной гусарской сабли.

– Ответь-ка мне сейчас же, любезный, отчего у тебя такие палаческие яства? Всё с виселицы али из-под топора, как этот кролик...

– Я, сударь, Томаш Воля, и промышляю палаческим ремеслом, – с достоинством ответил шинкарь. – Я старейший субтортор из Равы. И в самой Варшаве головы рубил... Я казака Наливайку на кол сажал, от чего потом предместье Налевки пошло...

Савилла мрачно усмехнулся. Мало того, что странный корчмарь, так ещё и палач... Этого решительно было чересчур для одной ночи.

– Так где ж этот нужник? – спросил он обречённо.

– В конюшне, – огрызнулся корчмарь-палач. – Я ж говорил.

– А мне укажи, где почивать.

– Извольте, сударь. Только не шастайте мне по ночам, коли милость ваша. У меня много, – добавил он тихо, – ох много работёнки...

***3. Подозрения***

– Мы оба думаем об одном и том же, – проговорил Дыдыньский. Они сидели на лавках в гостевой комнате. На столе горела свеча, отбрасывая на стены причудливые тени. – Что он убивает постояльцев.

– Пока это лишь догадки, – возразил Савилла. – Но что нам делать? Сбежать отсюда и доложить старосте?

– Ты что, рехнулся?! Я, Дыдыньский, первый рубака Саноцкого края, должен удирать от какого-то проходимца, да ещё и палача?!

– Он силён как бык...

– Ну и что? Надо выяснить, кто он такой на самом деле. Ты подслушивал у двери, чем он там занимался?

– Он зашёл в кладовую. Я слышал шаги. А потом что-то происходило внизу, похоже, в подвале. И в кладовую вёл тот самый кровавый след.

Дыдыньский на миг задумался. А затем вдруг замер. Где-то в корчме – непонятно где, но точно здесь – раздался душераздирающий стон. Тихое, похожее на кошачье завывание, которое могло издать только существо, испытывающее невыносимую муку. Это был вопль страдальца. Он стих, но через мгновение повторился.

– Что это?! – едва не вскрикнул Савилла.

– Тс-с-с... – прошипел Дыдыньский. – Неужели жертва корчмаря? Нет, не может быть. Хотя...

Савилла снова припал ухом к двери.

– Хозяин-то, пан, вроде спать пошёл. Я слышал, как он на кухню вернулся. А сейчас кто-то ворота приоткрыл... Кто-то из корчмы вышел.

– Точно? Но кто? Корчмарь?

– Может быть, – Савилла отпрянул от двери. Подошёл к окну и распахнул ставни. Ветер с дождём тут же ворвался в комнату. Пламя свечи заметалось и погасло. Шум ливня усилился. Снаружи бушевала настоящая буря.

– Савилла! – прошептал Дыдыньский. – Иди за ним. В корчме двое: этот палач и Ясек. Выясни, кто вышел. Я попробую пробраться в подвал. Надо разобраться, что здесь, чёрт возьми, творится. Давай, не мешкай!

***4. По следу***

Дверь в кладовую была на замке. Дыдыньский попытался выломать его, но тот сидел так крепко, что все усилия оказались напрасными. Оставалось только найти ключ. Но где его искать? Наверняка у корчмаря на поясе. Значит, придётся сначала добыть его у этого живодёра.

Он осторожно двинулся на кухню. Замер, услышав оттуда громоподобный храп. Корчмарь спал. Дыдыньский тихонько толкнул дверь. К счастью, она была не заперта. Петли предательски скрипнули.

– Мм... Тяни верёвки, Ясек! – пробормотал во сне корчмарь. – Сильнее, ломай эти кости...

Дыдыньский огляделся. На кухне царил полумрак, лишь тлеющие угли в очаге слабо освещали помещение. Стены были увешаны тесаками, ножами и пучками трав. «Ничего себе коллекция», – подумал Дыдыньский, представив, как корчмарь мог бы их применить, если бы сейчас проснулся.

Шинкарь дрых на лавке, укрывшись медвежьей шкурой. На его мясистой, бугристой руке молодой шляхтич заметил клеймо палача – вытатуированные колесо и виселицу. Дыдыньский поискал глазами связку ключей, которую раньше видел у корчмаря на поясе. Вот она! Висит на крючке на стене, но путь к ней преграждает лавка со спящим.

Он прикинул, как быть. Перешагнуть через лавку? Исключено. Корчмарь был настолько дороден, что Дыдыньский неминуемо оказался бы верхом на его необъятном пузе, будто девка на брюхе своего ухажёра. Как же достать ключи? Перепрыгнуть? Да этот боров тут же проснётся. Шляхтич опустился на четвереньки. К счастью, под лавкой можно было пролезть. Он осторожно подполз к спящему. Пробираясь под корчмарём, Дыдыньский вдруг представил, что будет, если лавка не выдержит. Что ж, даже это лучше, чем палаческий пресс.

– Вытяяягивай жииилы... – промычал мастер заплечных дел. Дыдыньский замер. Придерживая саблю, чтобы не звякнула, он пролез под лавкой. Одним прыжком достиг стены, схватил ключи и...

...палач перевернулся на другой бок. У Дыдыньского ёкнуло сердце. Но корчмарь не проснулся. Он продолжал храпеть. Молодой шляхтич поспешно пролез обратно, а затем на цыпочках выскользнул в тёмный коридор. Сердце колотилось как сумасшедшее.

***5. Казак***

Казак прильнул к стене. Осторожно подобрался к главным дверям корчмы. Несмотря на морось, он различал размытые силуэты деревьев вокруг постоялого двора. Кто-то брёл к лесу – сгорбленная, едва заметная фигура. На плечах у неё покоилось что-то тяжёлое. Похоже на мешок...

Он бесшумно двинулся следом. Этот человек... кажется, Ясек. Значит, палач остался внутри. Казак с облегчением выдохнул. Он осторожно вошёл в лес. Теперь даже не нужно было петлять. Тропинка, по которой шёл тот человек, вела прямо, как стрела. Но в чаще стояла такая тьма, что он не видел ни зги. Дождь и стекающая с деревьев вода промочили его до костей. Уже через несколько шагов рубаха прилипла к телу.

Казалось, этой прогулке не будет конца. Он уже почти ничего не различал. Казак надеялся, что Ясек не свернул с тропы и не заводит его нарочно в дебри.

Вдруг казак вышел на небольшую поляну. Сквозь переплетённые ветви деревьев сюда пробивалось чуть больше света. В этом тусклом сиянии он заметил на другом конце прогалины чью-то фигуру. Мрачная, высокая, закутанная в тёмный плащ... Савилла выхватил саблю. Стал осторожно приближаться. Ветер всколыхнул ветви, фигура слегка шевельнулась. Она словно поджидала его. Это был не Ясек... Кто-то чужой. Но кто?!

Савилла подкрадывался. Медленно, без резких движений. Незнакомец шевельнулся, похоже, протянул руки, намереваясь схватить его. Тут казак прыгнул и рубанул саблей наотмашь. Промахнулся – клинок рассёк воздух. Но что-то с силой кольнуло его в лоб, царапнуло бритую голову, оставляя влажный след. Это могло быть только лезвие сабли или палаша... Савилла отпрянул, упал и перекатился под ближайшее дерево. Однако незнакомец остался на месте. Казак почувствовал, как тяжёлые капли стекают по лицу. Наверняка кровь... Он осторожно коснулся лба и обомлел. Ни царапины. Вообще ничего. Медленно поднялся, весь перепачканный, подошёл к таинственной фигуре и ткнул саблей. Она прошла насквозь, встретив лишь слабое сопротивление. Он протянул руку и нащупал колючие, острые иголки. Только теперь до него дошло, кто был его «противником» и что он чуть не изрубил можжевельник...

– Чтоб тебя! – выругался он сквозь зубы. Разозлившись, зашагал дальше по тропе. Вскоре деревья снова расступились. Здесь тоже было посветлее, чем в лесу. В слабом сиянии он узнал поляну, где они нашли яму с раздробленными костями. Осторожно заглянув в неё, он заметил на краю насыпи свежие окровавленные берцовые кости... Ясно, что их бросил сюда Ясек.

Он огляделся. Немого слуги нигде не было видно. Казак развернулся и быстрым шагом направился обратно к корчме.

***6. Ошибка***

Дыдыньский осторожно отпер дверь. Ключ скрежетнул в замке. Яцек тревожно оглянулся, но из кухни по-прежнему доносился мерный храп корчмаря. Он медленно толкнул дверь и, освещая путь факелом, вошёл в кладовую. Та оказалась маленькой, вытянутой, с низким потолком. На стенах висели огромные куски мяса и сала. Кровавый след, по которому он шёл, сворачивал вправо. У самой двери Дыдыньский заметил массивный дубовый пень с воткнутым в него окровавленным топором.

Молодой шляхтич осторожно приблизился к стене. Кровавый след обрывался у небольшого люка в полу. Склонившись над ним, Дыдыньский снова услышал душераздирающий, но тихий вой – стон, который мог вырваться только у человека, подвергнутого жесточайшим мукам. Яцек не знал, что ждёт его внизу. Тела убитых? Расчленённые трупы? Он был уверен лишь в одном – кто-то из жертв ужасного корчмаря всё ещё жив. Нужно спасать. Дыдыньский, разумеется, не рассчитывал найти за потайным люком пленённую девицу, тем более невинную – последних в Речи Посполитой почти не осталось, – но чувствовал, что обязан туда спуститься. Приподняв тяжёлую крышку, он увидел лестницу, ведущую вниз. Яцек осторожно начал спускаться и вскоре оказался перед небольшой запертой дверцей...

– Аууу... Дауууу... – донеслось снизу. Сердце Дыдыньского бешено заколотилось. Он аккуратно отодвинул засов и толкнул дверь...

Комната, в которую он вошёл, напоминала пыточную. На стенах висели связки кнутов, плетей и нагаек. Посреди помещения стояло большое деревянное ложе, рядом – винты, колодки, ремни и палаческие прессы. На почётном месте красовались испанские сапожки, явно не предназначенные для украшения изящных дамских ножек. В углу виднелась клетка со скелетом. Когда Яцек вошёл, стон внезапно оборвался. В щель приоткрытой двери молниеносно выскочила кошка... Дыдыньский растерянно огляделся. Он и подумать не мог, что источником таинственных звуков окажется животное... Заметив на полу следы крови, ведущие в угол, он направился туда... К стене был прислонён окровавленный мешок, набитый чем-то мягким. Дыдыньскому пришла в голову мысль, что там человеческие головы, но, развязав верёвку, он увидел сверху тушку мёртвого кролика, обезглавленного по-палачески. Он схватился за голову. Теперь-то он понял, что произошло чудовищное недоразумение...

– Ты что здесь делаешь, пан?! – прогремел голос, похожий на раскат грома. Дыдыньский обернулся. В дверях пыточной стоял палач с тесаком в руке. Пан Яцек вдруг осознал, что давненько не попадал в такую передрягу.

– Я думал, вор забрался! – рявкнул трактирщик. – Никогда бы не подумал, что шляхтич может вломиться в чужую кладовку и шарить по чужим вещам! И зачем ты, пан, мою кошку Крутицу выпустил?! Теперь она с котятами вернётся!

Дыдыньский молчал. Он попятился, прислонился к ложу пыток, а затем резким движением выхватил саблю.

– Давненько я не рубил шляхетских голов! – прорычал палач.

– Пан, пан, вы где?! – раздался сверху крик Савиллы. Дыдыньский с облегчением вздохнул. На лестнице загрохотали тяжёлые шаги, и за спиной палача возник казак с пистолетами в руках.

– Что ж, хозяин, – пробормотал Дыдыньский. – Похоже, мы малость ошиблись. Прошу прощения. Пожалуй, нам пора поблагодарить за гостеприимство и откланяться.

***7. Дыдыньский в замешательстве***

Они долго стояли над ямой, найденной в лесу. Дождь уже прекратился. Выглянуло солнце, но утро всё ещё оставалось туманным и зябким. Дыдыньский мрачно уставился под ноги. Его взгляд задержался на валяющихся в грязи костях кроликов, зайцев и крупного скота. Ни одна из них не была человеческой.

– Чёрт побери, Савилла. Как же мы так лопухнулись?

Казак промолчал. Дыдыньский развернул коня и тронулся дальше по дороге. Он надеялся, что вся эта история не разойдётся по округе и не дойдёт до Саноцкой земли. В конце концов, это могло здорово подмочить его репутацию. Он ехал не торопясь, но даже не заметил, как проехал мимо заросшего травой надгробия, притаившегося в густых кустах. Только Савилла приметил маленькую каменную табличку на могиле. Ему едва удалось разобрать полустёртую надпись. Томаш Воля... Да, казаку показалось, что он уже где-то слышал это имя. Вот только вспомнить где – хоть убей не мог...

***8. Тайна корчмаря***

Ранним вечером палач снова спустился в свой любимый подвал. Он надеялся, что теперь ему не помешает никакой незваный гость. Удобно устроившись у палаческого ложа, он вытащил из окровавленного мешка, из-под мёртвых кроликов, то, что осталось от Хвостика. Бедолага-купец, видать, родился под несчастливой звездой, раз всего два дня назад его угораздило завернуть в эту корчму. Трактирщик внимательно осмотрел кости и печень, а затем потянулся за кинжалом, долотом и молотком. Внутри костей было то, что уже больше ста лет являлось для него самым ценным: костный мозг. Добавленный в алхимический раствор красной тинктуры, он придавал ей невиданную силу. А для палача это означало лишь одно – ещё больше жизни. Да, у трактирщика теперь и впрямь было работы невпроворот...

# Слово дворянина

***1. Замок скорби***

Это были похороны видного дворянина. Сотни мерцающих свечей освещали убранство костёла. Тени скользили вдоль колонн, прятались за пилястрами. Жёлтый свет пламени выхватывал из мрака очертания каменных эпитафий, надгробий и статуй. Он придавал блеск портретам и скульптурам – изображениям гордых мужчин и красивых, величественных женщин; ангелам, опирающимся на алебастровые украшения, и каменным черепам. Освещал барельеф, на котором был изображён шляхтич в жупане с петлицами, подбоченившийся правой рукой. Левую он протягивал смерти, которая как раз приглашала его на танец.

Костёл был полон шляхты, мещан и челяди. Стены, обитые чёрным сукном, глушили эхо. Восемь гайдуков в чёрных жупанах, подпоясанных широкими и тяжелыми кушаками из золотой парчи, несли к алтарю простой деревянный гроб, покрытый красной тканью. По бокам шли члены монастырского братства со свечами в руках. Их головы были скрыты под капюшонами. Они тихо выводили погребальную песнь. Позади следовали слуги в делиях и кафтанах, несущие золотую булаву, конскую сбрую, саблю, калкан[1] и каменный гербовый щит...

Это был простой герб. Подкова и два креста. Любич.

За слугами шествовала толпа шляхты. Сияли бритые головы панов-братьев, смешивались пышные усы, делии и ферязи, волчьи и медвежьи воротники, жёлтые и карминные цвета жупанов.

Двое старых слуг поддерживали молодую женщину в чёрном. Несмотря на траур, она шла к алтарю с прямой спиной. Споткнулась, когда нога попала в щель каменного пола. Один из сопровождающих шляхтичей протянул руку, чтобы помочь, но она отмахнулась резким жестом.

Гроб установили на величественном castrum doloris[2] – на катафалке, украшенном резными головами орлов и волков. Высокие античные колонны возвышались над постаментом, поддерживая арку, затянутую чёрным крепом. Две скульптуры ангелов соприкасались крыльями, а блики от огня свечей мерцали на их лицах.

Когда подул ветер, огоньки свечей заколебались. Взметнулись вверх, и на белой стене тени на мгновение сложились в силуэт встающего на дыбы коня с всадником в развевающемся плаще...

Гайдуки отступили, открывая прибитый к крышке гроба портрет.

Каштелян Лигенза.

Это был надменный шляхтич с длинной седой бородой и глазами, пылающими гневом. Его лицо украшали несколько шрамов, полученных в битве. Даже после смерти он смотрел на мир огненным взором. Никто и ничто не могло укрыться от его внимания.

Члены братства продолжали петь. Их голоса звучали печально и скорбно под высокими сводами. Они затихали постепенно, мягко, пока, наконец, не воцарилась тишина, прерываемая далёким завыванием ветра.

Храп коня, стук копыт!

Один из прислужников испуганно огляделся. Нет, показалось. В костёле стояла тишина.

Перед castrum doloris выступил седой священник.

— Пан каштелян Лигенза!

Ветер завыл вокруг костёла. В боковом нефе грохнули неплотно закрытые ставни.

— Пан каштелян Лигенза, — повторил громко священник, — из праха ты вышел и в прах обратишься. Приходишь к Господу нашему не в кармазиновой делии и не на коне с убранством, не с саблей и в сверкающих доспехах, а нагой и безоружный. Вот завершил ты странствие жизни своей, оставил почести, великолепие и чины. За все грехи ты искупишь вину, а род твой никогда уже к славе не будет призван.

Каменный щит с гербом Любич с грохотом упал на пол. Раскололся на три части; его осколки рассыпались перед castrum doloris. С крышки гроба, с шестиугольного портрета, смотрело на них лицо каштеляна галицкого Януша Лигензы, старосты брацлавского, долинского, контского, дыновского, билгорайского, меречицкого...

Булава с грохотом упала на пол перед гробом. За ней рухнул калкан. Потом железный щит, конская сбруя, палаш, рапира... Высокий гайдук занёс над головой саблю-карабелу. Одним быстрым движением переломил её пополам и швырнул к лику мёртвого каштеляна.

Все молчали. Стояла такая тишина, что было слышно, как потрескивают свечи. Священник отступил от гроба. Огни померкли.

Вдруг раздался стук конских копыт. Грохот приближался, нарастал. Наконец прогремел у самых врат храма. И тогда все медленно, будто во сне, обернулись ко входу.

Между колоннами стоял огромный вороной конь с огненными глазами. На нём восседал могучий всадник в чёрных доспехах и разорванном плаще. В руке он сжимал чёрную саблю.

Всадник тронулся с места. Конь шёл шагом, громко храпел, косился по сторонам и ржал. Подковы мерно били по каменным плитам, вызывая под сводами громовое эхо, заставляя дрожать от ужаса. Никто не смел шевельнуться... Но вот один из гайдуков вздрогнул. Он всматривался во всадника, а рука его сама потянулась к прислонённому к стене полгаку – короткому мушкету...

Конь рванулся вперёд. Ураганным галопом помчался к алтарю, высекая искры подковами. Когда он влетел в освещённую часть храма, на эмалированных доспехах всадника заблистали голубые лилии. Скакун прыгнул к castrum doloris, всадник осадил его перед гробом, привстал в стременах и рубанул по погребальному портрету каштеляна. Удар был страшен. Металлическая пластина[3] с портретом легко оторвалась от крышки гроба и улетела в угол, прямо в зияющую пасть открытого склепа. Всадник обвёл взглядом присутствующих. Никто не видел его лица под тяжёлым забралом немецкого шлема.

— Чёрт! Дьявол! — раздались крики со скамей. — Чёрный всадник!

— Горе нам!

— Хватайте его! Держите!

Грохот выстрелов прокатился громом под сводами храма. В нефах и за скамьями засверкали вспышки пистолетов и самопалов. Пули засвистели вокруг чёрного всадника. Крики и стоны взметнулись под потолок, топот ног смешался с лязгом оружия. От главного нефа уже бежали гайдуки с саблями, челядь с копьями и алебардами. Со стороны часовен загрохотали подкованные сапоги благородных панов-братьев, засверкали обнажённые сабли и палаши. Все, кто мог, бежали к алтарю.

— Окружай его! Взять чёрта! Не щади!

Подбежавший гайдук каштеляна ударил коня протазаном в живот. Вороной взвился на дыбы, развернулся на месте, уходя от атаки. А потом прыгнул вперёд, сбивая противника. Чёрная сабля со свистом опустилась, разрубая первую голову. Конь заржал, а потом бросился в водоворот схватки. Всадник развернул его влево. Молниеносно перевернул клинок лезвием вниз, отбил удар, нацеленный в бок коня, а потом хлестнул противника по шее. Шляхтич в жёлтом жупане захрипел, рухнул на пол прямо под копыта, а конь растоптал его и прыгнул дальше, расшвыривая тех, кто стоял ближе всего.

Чёрный всадник пригнулся к седлу. Он наносил удары со скоростью молнии, с силой грома сея смерть и разрушение. Враги теснились со всех сторон, пытаясь окружить его, прижать к стене, достать остриями рогатин. Но он не подпускал к себе никого. Неуязвимый в доспехах, он нёсся как вихрь по каменным плитам. Молодой служка схватил его за левый наплечник, повис на нём, пытаясь стащить с седла. Но всадник молниеносно ударил саблей из-под мышки и вонзил остриё прямо в сердце.

Другой слуга вскинул аркебузу для выстрела. Чёрный настиг его прежде, чем тот успел опустить курок на полку, и одним быстрым ударом лишил жизни. Падающее ружьё выстрелило в воздух, пуля ушла во мрак, попала в крыло ангела, отколола его и сбросила на пол.

Шляхта, гайдуки и простолюдины разбежались в панике. Чёрный всадник развернулся кругом, в боевом исступлении ища противников. И нашёл! Со стороны часовни на него шёл священник с крестом и кропилом в руке.

— Дух нечистый, дьявол во плоти! Сгинь, пропади!

Священник плеснул во всадника святой водой. В тот же миг вороной конь взвился на дыбы, ударил священника копытами, и тот упал навзничь, ударился головой об узорчатый пилястр, осел на землю. Кровь брызнула на мрамор, на эпитафии и траурные хоругви.

Конь отпрянул, ржа и хрипя. Налетел крупом на гроб, столкнул его с катафалка, сбил свечи, опрокинул их с треском. Лёгкие драпировки и тяжёлый бархат тут же занялись огнём. Пламя взметнулось высоко вверх. Поднялось до самого потолка, загудело...

Всадник направил коня к скамьям. Видно, у него была какая-то тайная цель. В костёле воцарился хаос. Все кричали, бежали или хватались за оружие. Драпировки и обивка разгорались всё ярче.

Чёрный всадник врезался в толпу, с грохотом опрокидывая скамьи. Старый шляхтич направил оружие ему прямо в грудь. Но хоть кремень и высек искру... пистолет не выстрелил! Всадник рубанул саблей, а старик отшатнулся, с криком рухнул в зияющий провал катакомб и покатился по ступеням в глубину склепа.

Огромный скакун прыгнул вперёд, а потом заржал, сдерживаемый твёрдой рукой.

Он остановился перед стройной фигурой в чёрном.

Женщина подняла взгляд. В её глазах сначала был гнев, потом страх, а под конец — ужас. Позади, у алтаря, взметнулось адское пламя. Взвилось высоко, пробралось через окна и жадно охватило крышу апсиды костёла. Огонь распространялся быстро, вздымаясь вверх столбами.

— Пожар! Горим! — раздались крики. Все, кто мог, бросились наутёк. В панике выломали боковые двери. Толпа хлынула к выходу, топча и давя упавших.

Женщина вскрикнула от страха. Обернулась, побежала. Чёрный всадник настиг её в два прыжка. Наклонился в седле, отпустил саблю, повисшую на темляке, схватил беглянку за талию и поднял с земли. Перекинув её через переднюю луку седла, помчался галопом к выходу.

Он был уже близко к дверям, может быть, в шаге от выхода. Позади оставались сумятица и зарево пожара. Впереди — путь к свободе.

Всадник перемахнул через открытые двери и вылетел наружу. Резко осадил коня, так что тот встал на дыбы, заржав. У ворот церковной ограды, преграждая путь, застыл белоснежный жеребец. В гусарском седле восседал шляхтич в высокой шапке и делии, небрежно наброшенной поверх сверкающей кольчуги.

***2. Под виселицей***

Они брели сквозь мрак, не видя лиц друг друга. Ночь стояла тёплая, душная и непроглядная. С лугов и топей поднимался густой туман, стекал по склонам холмов, сгущался в буреломах и оврагах.

Властным движением он притянул к себе девку. Рванул застёжки, разорвал жупан, грубо расстегнул корсет и схватил голую грудь Настки. Та взвизгнула и отпрянула, вырвавшись из его хватки. Разъярённый, он подкрутил длинный ус и схватил её за плечо.

— А ну, иди сюда, дура, — прорычал он. — Золотом одарю!

— Не спешите так, ясный пан, — прошептала она. — Дам, как только в лес войдём.

— Чего страшишься?!

— Жутко здесь. — Она огляделась по сторонам. — Туман наползает...

Он оглянулся. Повозки Рокицкого с лучшим передвижным борделем во всей Перемышльской земле остались далеко позади. Нетерпеливо подтолкнул девку к маячившим в тумане деревьям. Чёрт побери, что это значит! Эта простая потаскуха, что отдаётся за горсть шелягов, смеет перечить ему — пану Лигензе, сыну старого каштеляна и старосте любачевскому!

Он схватил её за шею, притянул к себе, впился в приоткрытые губы, а потом принялся грубо срывать жупан. Она недолго сопротивлялась, но вскоре сдалась. Он скинул с плеч делию и бросил на землю, уложил на неё Настку, отстегнул саблю и начал остервенело срывать с девки остатки одежды. Она тяжело дышала, но вдруг окаменела в его руках.

— Там! Там в тумане, — прошептала она и отпрянула.

— Какого дьявола?!

Он вскочил на ноги. Показалось, будто где-то в белёсой мгле заржал конь. Лигенза огляделся. Туман окутывал их точно плотный саван, глушил звуки, перехватывал дыхание. Померещилось. Он уже хотел снова припасть к Настке, когда услышал стук копыт.

Конь мчался сквозь туман. Глухой топот то приближался, то удалялся. Староста вскипел от ярости.

— Ясек, собачий сын, отзовись!

Тишина.

— Ясек! Негодяй! Я ж слышу, что это ты!

Грохот копыт нарастал, Лигенза различил глубокое, мощное дыхание коня, но в тумане и темноте ничего не было видно. Шляхтич уловил затихающий стук... Конь удалялся.

— Ясек, чтоб тебя черти взяли! Сто плетей получишь! Больше, чем когда на мессе зевал!

Конь словно растворился в тумане. Староста решил было, что всё стихло, но снова услышал ржание. В этом звуке, вырвавшемся из конской глотки, было что-то такое, от чего мурашки побежали по спине. Настка в ужасе озиралась по сторонам.

Выхватив из ножен саблю, он двинулся на звук. Туман поглотил его целиком, окутал текучей пеленой, сомкнулся вокруг плотным коконом.

Топот копыт раздался совсем близко. Конь снова заржал — похоже, нервничал, сдерживаемый железной рукой всадника.

Лигензу охватила тревога. Что всё это значит? Кто смеет насмехаться над ним в тумане...

Сделав ещё два шага вперёд, он застыл на месте. Замер, вглядываясь в то, что проступало из мглы.

Перед ним высилась старая виселица. Три почерневших от времени бревна. Толстая просмолённая верёвка медленно покачивалась, а на её конце... На конце висела иссохшая, выпотрошенная туша огромного волка.

У Лигензы перехватило дыхание. Спесь, гордыня и ярость испарились в одно мгновение. По спине потекла холодная струйка пота.

Всадник!

Рядом с волчьей тушей застыл всадник... Тело его скрывали чёрные доспехи. На голове — шлем с забралом. Лигенза услышал свист клинка, покидающего чёрные ножны.

Вороной конь взвился на дыбы. Староста услышал его храп прямо над головой, увидел блеск обнажённого клинка, в котором отражался тонкий серп луны.

Он рванул сквозь заросли, спотыкаясь о камни, путаясь в высокой траве, продираясь через кусты. Всадник гнался следом. Лигенза боялся обернуться, боялся встретиться с ним лицом к лицу. А ведь страх был чувством, совершенно чуждым его душе. За спиной он ощущал дыхание вороного и холодную смерть, таящуюся в сверкающем клинке. Внезапно земля ушла из-под ног. Он кубарем покатился по острым камням, раздирая в клочья адамашковый жупан и шаровары. Ощутил, как что-то липкое стекает по шее, заливает лоб... Кровь.

Споткнувшись о корни мёртвого дуба, он рухнул наземь, перекувырнулся, но всё же вскочил и развернулся навстречу опасности. Однако, увидев огромного коня, несущегося прямо на него, испустил волчий вой. Чёрный всадник крутанул палашом, так что тот свистнул, а затем опустил клинок для удара.

Блеск стали!

Отблеск света упал на побелевшее окровавленное лицо Лигензы... Вороной конь на полном скаку врезался в каштелянича. В последний миг шляхтич отшатнулся, пытаясь спастись, хоть как-то увернуться от удара, но тщетно!

Палаш со свистом рассёк воздух, отрубая правое плечо и руку с саблей. Чёрная кровь хлестнула на ствол дуба, забрызгала кусты и заросли. Отрубленная рука упала, сотрясаясь в конвульсиях, судорожно сжимая усыпанную самоцветами рукоять карабелы. В ночной тиши разнёсся дикий вой. Лес отозвался эхом, потом донеслось лишь ржание коня да затихающий стук копыт, и воцарилась мёртвая тишина.

***3. Eques polonus sum***

Подъёмный мост с грохотом рухнул вниз. Они въехали в мрачное нутро ворот, и стук копыт по деревянному настилу гулким эхом прокатился под сводами. Яцек Дыдыньский вскинул голову. Высоко над проездом чернела каменная гербовая плита с Любичем. Она была треснута. А может, только почудилось...

Они выехали в узкий, стиснутый стенами двор сидоровского замка. В вышине сгущалась тьма. Тяжёлые грозовые тучи затянули и луну, и звёзды.

— Ох, повезло нам, пане-брат, успели-таки, — прохрипел Анзельм Нетыкса. — А не то пришлось бы в чистом поле ночь коротать.

— Отчего же?

— Пан каштелян велит ворота на засов. После заката никому в замок ходу нет.

Дыдыньский огляделся. На стенах замерли гайдуки, на башне полыхали факелы.

— Чего страшится?

— Всему своё время, пане-брат, — пропыхтел Нетыкса, слезая с коня. — Узнаешь ещё такое, что многое тебе прояснится.

Дыдыньский спрыгнул наземь. Кинул поводья пахолку.

Нетыкса, прихрамывая, заковылял впереди. Правая нога у него была деревянная. Как сам бахвалился — отхватило ядром из фальконета во время жаркой битвы.

Во время битвы, стало быть, как смекнул Дыдыньский, в одной из тех междоусобиц, что ещё несколько лет назад затевали Лигензы на Червонной Руси.

Нетыкса вдруг встал как вкопанный. Разразился бранью — деревяшка намертво застряла меж камней. Дёргал её, дёргал — без толку.

Дыдыньский наклонился, ухватил деревянную култышку, выдернул её из расселины, придержал Нетыксу.

— Оковал бы ты, ваша милость, свою деревяшку. Коли жёнка с девкой застанет — далече не ускачешь.

— Всю жизнь от неё бегал, да так и не сбёг. Хоть и на своих двоих был. Упокой, Господи, её грешную душу.

Они двинулись к лестнице.

— Жалостлив ты, пан рубака, — хмыкнул Нетыкса. — Никак и всех тех... кхе-кхе-кхе, панов-братьев жалеешь, коих порубал, а?

— Так оно и есть, — отрезал Дыдыньский. — Жалею.

— Молитвы за душу свою читаешь?

— Нет. Никогда.

— А за души тех, кого сгубил?

— Вечности бы не достало.

По каменным ступеням взошли на галерею. Перед тяжёлыми, окованными гвоздями дверями в покои каштеляна стояли два гайдука и рослый шляхтич в лисьей шапке. Пану Яцеку хватило мимолётного взгляда на прищуренный глаз, рассечённую правую бровь и шрам на лбу, чтобы признать давнего и не больно-то доброго знакомца.

— О, пан Заклика, отпетый разбойник! Челом бью!

— Дыдыньский?! — прохрипел шляхтич. — Каким ветром?

— С визитом, пане-брат, пожаловал, — встрял Нетыкса. — Гость пана каштеляна.

— Гость в дом — бес в дом, — проворчал Заклика. — Что ж, сударь, сдаётся мне, сыщем часок потолковать о старых делишках. А покуда саблю сдай, коли к каштеляну идёшь.

Дыдыньский замешкался, но Нетыкса положил руку ему на плечо.

— Таков уж у нас обычай нынче. Кто к каштеляну с делом — оружие оставляет.

Дыдыньский отстегнул с перевязи свою чёрную серпентину[4] и протянул Заклике.

— Та самая? — процедил Заклика с угрозой.

— К шраму приложи, коли запамятовал.

Заклика сплюнул. Махнул гайдукам, и те распахнули двери.

Миновали прихожую. Нетыкса провёл Дыдыньского в просторный зал. Царил полумрак, лишь в огромном очаге трещал огонь да на столе чадили три свечи в золотом подсвечнике, изукрашенном резными конями и рыцарями. Подле лежали старые бумаги — пожелтевшие, сложенные в несколько раз письма.

— Рад видеть, премного рад видеть вашу милость!

Януш Лигенза, каштелян галицкий, шествовал к ним с распростёртыми объятиями. Дыдыньский приметил его высокий лоб, пронзительные глаза, окладистую белую бороду и роскошную делию с горностаевым воротом. Он заключил Дыдыньского в объятия и расцеловал в обе щеки.

— Прошу садиться, ваша милость, — указал на обитый кожей стул. Кивнул Нетыксе, тот налил из кувшина вина в хрустальный кубок и поставил перед гостем.

— Верно, уже свиделся, пан Яцек, с Закликой, — молвил каштелян. — Да не тревожься о нём — Заклика клинок обнажает токмо с моего соизволения. Покуда долги не воздаст, висит на рукаве моей делии. Вот здесь. — Каштелян указал унизанной перстнями дланью на оторочённый мехом рукав. — За твоё здоровье. — Воздел кубок. — За встречу. И за добрую сделку.

Выпили. Токайское было отменным, видать из погребов каштеляна. А может, всё же из подвалов Боратынских, чей замок Лигенза разграбил по весне, когда спорили за Журавицу?

— О чём же нам сделку вершить, ваша милость? О Заклике? Не стоит он того, чтобы меня сюда вызывать. О набеге?

Каштелян опустился в кресло. Впился в Дыдыньского острым, хитрым взором.

— А как мыслишь, чего бы я мог желать от первейшего рубаки во всём Русском воеводстве? Не для пустых речей я тебя звал. Есть для тебя дело. Знатное дело.

— Какое же?

Каштелян с Нетыксой обменялись взглядами. Лигенза опустил глаза.

— Кто-то убивает моих людей, — глухо произнёс он. — Наёмный убийца, разбойник... Верно, мой давний враг. Бьёт исподтишка, всегда один. От всех облав ушёл. Убил... — голос его надломился, — ...убил Александра, первенца моего. Единственного наследника. А прежде погубил Самуила...

— Стало быть, разит из засады, и никто не видел его лица? — подался вперёд Дыдыньский.

— Кабы хоть кто-то видел его рожу, не звал бы я тебя, — выдохнул каштелян. — Знать бы мне, кто он – казнил бы вдвое, втрое, вчетверо мучительней, чем он моих сыновей. За одну руку отрубил бы обе. За каплю крови Лигензов выпустил бы из него море...

— Всё началось с полгода тому, а то и раньше, — размеренно продолжил Нетыкса. — Первым пал арендатор Верушовой — одной из наших деревень. В его усадьбу ворвался всадник в чёрных доспехах. Порубил беднягу в куски... После этот чёрный прикончил нашего эконома под Галичем. Следом — ещё двоих наших...

— Что ж, видать, всадник был без головы? — хмыкнул Дыдыньский. — Небось, когда скакал, цепями гремел, а души убитых в преисподнюю уволок! А может, и не всадник вовсе, а чудище какое, что жрёт смердов, не подающих на церковь?

— У этого всадника, — процедил сквозь зубы каштелян, — голова пока на месте. Тебе нетрудно будет снять её с плеч.

Он с силой ударил по столу ребром ладони, опрокинув кубок. Тонкая струйка вина потекла вдоль старого письма, скреплённого чужеземной печатью с лилиями — точно струйка свежей крови. Каштелян грузно осел в кресло.

— Чёрный всадник, — прошептал Нетыкса. — Мужики шепчутся, мол, кара божья снизошла. Говорят, должен весь род Лигензов под корень извести.

— Стало быть, — невозмутимо отозвался Дыдыньский, — вам священник нужен али экзорцист. Нечисть – это не моего ремесла дело.

— Не нечисть это. Человек. На вороном коне разъезжает, лицо прячет под забралом, но клянусь — под чёрными доспехами бьётся живое сердце. Убийца или мститель, жаждущий расплаты.

— Я облавы на него устраивал, — прохрипел каштелян, — да только хитёр, что твоя рысь, лют как волк и силён будто медведь.

— Чего же вы от меня хотите, пан Лигенза?

— Хочу увидеть, как ты явишься с телегой аль конём. А на телеге чтоб гнили останки этого душегуба. Сорву с него шлем и в мёртвые очи загляну. Вот тогда и узнаю, кого благодарить. И отблагодарю... по-своему, по-каштелянски. Выследи его и убей. Получишь золотом, сколько весит всадник.

— В доспехах или без?

— В доспехах.

— Дёшево же вы меня цените, пан каштелян, — протянул Дыдыньский. — Охотник, коему придётся рысь выслеживать, на волка капкан ставить да с медведем в обнимку бороться, головой рискует. Оттого и цена будет немалая.

— Сыщешь его?

— Сыщу. Я до риска охоч. Только встанет вам это в копеечку. Десять тысяч червонцев — вот моя цена!

Каштелян захрипел пуще прежнего — громче, чем когда о смерти сыновей говорил. Закашлялся, и Нетыкса торопливо поднёс ему свежий кубок вина. Лигенза осушил его единым духом, прохрипел, снова зашёлся кашлем...

— Эдакую... — Вновь одышка его сковала. — А я-то считал тебя другом, пан Дыдыньский.

— Друг я и есть, пан. Да только мы с вами любим друг дружку по-братски, а считаемся по-жидовски.

— Быть по сему, — прохрипел Лигенза. — Получишь десять тысяч червонцев. Коли изловишь супостата да падаль его приволочёшь. А уж я отсыплю тебе полон мешок что дукатов, что червонцев, что талеров, что флоринов с рейнскими...

Повисла тишина. Пламя в очаге еле теплилось, чуть слышно потрескивали свечные фитили. Каштелян с Дыдыньским ударили по рукам.

— Даю шляхетское слово — деньги твои будут, — торжественно молвил каштелян.

— Даю *nobile verbum* — получите, пан каштелян, главу душегуба. — Пан Яцек положил руку на сердце. — Слово Дыдыньского крепче камня.

— Стало быть, сладили дело?

— *Nobile verbum*.

— Что ведомо о том всаднике?

— Бьёт по ночам или на закате. Носит рейтарский доспех чёрный да шлем немецкий. Силищей дьявольской наделён. Давеча шестеро гайдуков на него навалились — всех уложил. Стреляли в него, да пули от брони отскакивали, что горох от стены. Ездит на вороном жеребце, к сече обученном. Зверюга тот башки людям отгрызает, коли хозяину его грозят. Лица отродясь не кажет.

— Чем бьётся?

— Палашом. Что твой меч — длинный да увесистый.

— Рейтар, — процедил сквозь зубы Дыдыньский. — То оружие вольных рейтаров.

Каштелян вздрогнул, будто от удара, и затрясся всем телом.

— Что?! Что ты молвил?!

— Всадник тот рейтарским оружием бьётся. Видать, чужеземец. Когда последний раз объявлялся?

— Месяц минул, как изрубил сына моего, — голосом, полным муки, выдавил Лигенза. — Прости, сударь, нет мочи о том сказывать. Из чад моих одна лишь дочь осталась. Моя ненаглядная ласточка... К чему бередишь рану, шляхтич?

— Есть ли кто, пан, кто мог бы вас столь люто возненавидеть? Кому вы обиду такую нанесли, что он либо наёмника подослал... Либо сам тем всадником обернулся.

— С Гольской разошлись краями, со Стадницкими в закладе. Гербурт уже в геенне огненной, а Драхойовского люди перемышльского каштеляна порешили...

— А Тарнавский? — подал голос Нетыкса.

— Тарнавский на этакое не отважился бы. Да и при смерти он нынче.

— А Веруш...? — еле слышно обронил ключник.

— Сударь мой, — обратился каштелян к Дыдыньскому, — челядинец вас в покои проводит. Когда ж за лиходеем отправитесь?

— Через несколько дней. Сперва надобно здесь всё доглядеть.

— Через два дня я в урочище на медведя иду. Прошу со мной.

Дыдыньский поднялся и отвесил поклон. Нетыкса взял его под локоть и повёл к дверям.

— Хочу словом перемолвиться с тем, кто последним чёрного всадника видел, — молвил Дыдыньский. — Сыщется ли такой?

— Ясек, холоп пана Александра, упокой, Господи, его грешную душу. Велю ему в вашу горницу явиться.

Вышли из комнаты. Каштелян даже головы не повернул. Заклики у дверей уже не было. Гайдук вернул пану Яцеку саблю. После Нетыкса повёл гостя через палаты да переходы. Сидоровский замок был велик и богат. Дыдыньский видел добрую гданьскую рухлядь, турецкие ковры, шпалеры да образа... Глядели на него выцветшие лики с портретов. Нетыкса остановился.

— Беда чёрная обрушилась на господина нашего, — вдруг молвил он. — Сидоровское гнездо без наследников осталось, без продолжателей славного рода. От паничей один лишь образ на стене остался.

Дыдыньский глянул на стену. В мерцании свечей различил картину, где были писаны два молодца в заморском платье. Видать, малевали её в те времена, когда молодые Лигензы по чужим землям разъезжали да головы ещё на плечах носили.

— Вот младшенький, Самуил, и старший, Александр, — тихо промолвил Нетыкса. — А ныне одна панна Ева осталась. Ей и слава, и богатства достанутся. Свидишься ещё с панной, братец. Только голову не потеряй — краше солнца красного.

Дыдыньский всматривался в портрет. В дрожащем свете свечи, что держал Нетыкса, лица молодых Лигензов казались восковыми. Картина будто была неровно обрезана — отчего-то фигуры обоих юношей жались к правому краю полотна.

— Веди в горницу, — отрывисто бросил Дыдыньский.

***4. Ясек***

Перед дверями комнаты Дыдыньского ожидал молодой слуга каштеляна. Он отвесил низкий поклон до самой земли, держа в руках шапку, украшенную развевающимися лентами и пучком соколиных перьев.

— Это Ясек, — произнёс Нетыкса. — Пан каштелян отдаёт его тебе в услужение. Он видел всадника сразу после того, как тот убил светлой памяти молодого пана Александра.

Ясек выглядел в точности так, как и подобает слуге. Худощавый, румяный, одетый в короткий зелёный жупан на пуговицах.

— Близко ты был от убийцы, когда он зарубил пана Александра?

Слуга поклонился ещё ниже.

— Пан Александр с ружьём в лес пошёл. Мне приказал ждать между тропинками. Стою я, жду, и вдруг слышу — топот копыт. Сразу думаю — господи помилуй! — неладно что-то с моим паном. Вскочил я на коня, въехал в туман, как вдруг что-то огромное чуть на меня не налетело! Рядом промчался чёрный всадник. Бес настоящий! Хотел было за чёртом погнаться, да разве ж можно? Ещё обернётся да задушит. — Ясек истово перекрестился.

— Как он выглядел?

— На большом коне восседал. В чёрных доспехах, точь-в-точь как у королевских рейтаров, что я в Кракове видывал... А на доспехах серебряные лилии выбиты, в руке палаш. Лица не показал, чёрт окаянный — на голове шлем с забралом, огромный, что твой колокол в костёле бернардинцев во Львове. Или как купола на замке в Вишниче...

— Постой-постой, ты его лишь мгновение видел, а столько подробностей помнишь? Да ещё и в тумане!

— Не ведаю, пане. Так уж запомнилось.

— Люди разное болтают, — буркнул Нетыкса. — Повторяет, что на торжище слышал.

— Как думаешь, Ясек? Этот чёрный всадник — человек или упырь?

— Упырь, пане, истинно вам говорю. Я слышал, как бабы в Подгайцах судачили, что это кара за грехи наши. За то, что пан каштелян часто другим панам слово шляхетское давал, да не держал его.

— Ступай в людскую. — Дыдыньский похлопал слугу по плечу. Ясек съёжился и застонал.

— Что с тобой?

— Тридцать розог получил у позорного столба, милостью пана каштеляна, — пояснил Нетыкса.

— За что же?

— Бог весть. — Ясек потупил взор. — За гордыню, сказали пан каштелян. За то, что голову больно высоко ношу.

— А носишь?

— Не знаю.

— Ты шляхтич или холоп?

Ясек промолчал. Лишь низко поклонился.

— Холоп, пане, — прошептал он, и две слезы скатились по его щекам.

— Иди в людскую, — проворчал пан Яцек. — А завтра на рассвете приходи на службу... И не бойся, — добавил он тихо. — Бить не стану.

***5. Амур и демон***

Разная бывает осень. Есть итальянская — тёплая и солнечная. Французская — полная наливающихся гроздьев винограда, осень изобилия и урожая. Лифляндская — серая, хмурая и унылая. Молдавская — знойная, душная и пыльная.

Но прекраснее всех — золотая польская осень.

Так, по крайней мере, думал пан Дыдыньский, отправляясь на охоту к каштеляну в Бескиды.

На дворе стоял октябрь. Леса и поля облачились в золото, деревья роняли жёлтые листья на ковёр из трав и поздних цветов. Небо над горами сияло безмятежной синевой. Ручьи негромко журчали меж камней, а под вечер из буреломов и лесных чащоб поднимались первые осенние туманы. В эту пору зверь выходил из лесов на поля, кабаны рылись под вековыми дубами, гуси тянулись клином к югу. По склонам Бескид паслись косульи стада, в кустах таились зайцы, волки подбирались к людскому жилью. И всякий, кто числил себя в шляхте, выезжал с гостями да челядью в чащу, спускал со своры борзых и гончих или брался за чешское либо немецкое ружьё. Забирался в дебри с луком и рогатиной, травил зайцев, выслеживал волков, лосей да оленей. Охотился с соколом на поднебесных птиц, ходил с сетью на медведя или ставил силки на лису.

Однако в этот вечер Дыдыньскому было не до охоты.

Каштелянка...

Заняв указанное лесничим место за купой пожелтевших кустов, изготовив оружие и притаившись, он вдруг услышал за спиной перестук копыт. Обернувшись, увидел молодую панну на белом иноходце. Одета она была по-мужски — в жупанчик, делию и колпак, из-под которого выбивались смоляные пряди. Подъехав ближе, она взглянула Дыдыньскому прямо в глаза, а после легко соскочила наземь. Поправила перевязь на плече. За это время пан Яцек успел разглядеть её прелестные серые очи, небольшие, но пухлые губы, тонкие брови и точёные ноздри, что трепетали, словно у породистой кобылицы.

— Рада приветствовать вас, пан Яцек.

— Ваша милость, — Дыдыньский отвесил поклон, сняв шапку, — вы, верно, Ева Лигензянка, дочь его милости пана каштеляна галицкого, моего благодетеля, о чьей красоте и светлом разуме я столько наслышан?

— Сдаётся мне, вы, сударь, столь же искусны в словесных турнирах, как и в сабельных. Неужто и девичьи сердца покоряете так же ловко, как добываете охотничьи трофеи?

— На дам у меня два способа, — отвечал Дыдыньский с улыбкой, — сабля да стихи. Стихами покоряю сердце, а саблей гоняю воздыхателей, что в рифмах искуснее меня, да вот клинком владеют похуже. Что же привело вашу милость ко мне?

— Любопытство взяло: неужто столь прославленный охотник уже добыл волка, а может, и медведя?

— Я нынче охочусь на зверя покрупнее, милостивая панна каштелянка.

Ева лукаво улыбнулась. Обошла вокруг могучего древесного ствола, едва касаясь его тонкими пальцами.

— Знаю я, пан Яцек, на кого вы охотитесь. Скачет он на вороном коне, и всякий раз, как объявится, чья-нибудь голова с плеч летит.

— И глупо поступает. Будь я тем всадником, не на мужчин бы охотился.

— А на кого же?

— На... ланей.

Она тихо рассмеялась.

— А не из тех ли этот всадник, кому батюшка в моей руке отказал? Когда б кто из них набрался духу, я б не противилась похищению... Отец прочит меня за магнатского сынка. Для таких слишком тяжелы рейтарские доспехи да палаш. Не ведаете вы, пан Яцек, как постыла жизнь в дворцовых палатах. Вы, сударь Дыдыньский, что душе угодно, то и творите: вздумается — живёте, вздумается — помираете! А я всё гляжу на елейные улыбки холёных панов да тоскую по вольной жизни. Такой, какую вы ведёте...

— Такая жизнь недолгая выходит. В драке, в корчме, на большой дороге, под конскими копытами. От татарской стрелы. Али на басурманских галерах. Али под топором палача...

— А ведомо ль вам, пан Яцек, отчего я сюда пришла? Хотела давнее знакомство возобновить. Всё вспоминаю, как прежде вы к батюшке наезжали, в замок в Подгайцах.

— Не помню.

— Ты тогда и взглядом меня не удостоил... А коли начистоту, пан Яцек, — она прильнула щекой к его плечу, да так, что шляхтича дрожь пробрала до самых костей, — пришла я к тебе, ибо ведаю, что ОН вновь явится. За душой моей придёт.

— За тобой? С чего бы?

— Я в роду последняя осталась. Защити меня, пан Яцек... От него спаси. Батюшка мой не вечен. А после понадобится мне подле себя кто-то сильный. Такой как ты...

— А как же Заклика?

— Всего лишь беглый преступник. Заклика? Да кто он таков?

— Враг мой. Я изрубил его на поединке.

— Но то не Дыдыньский. Не ты...

Вдали загудели охотничьи рога. Тотчас за спинами Дыдыньского и Лигензянки затрещали ветви и кусты. Приближался каштелян, а с ним Нетыкса, Заклика и челядь. Лигенза держал наготове ружьё. Заклика выхватил бандолет, зыркнул недобро на Дыдыньского с каштелянкой.

— Облава началась! — возгласил каштелян. — Медведь в чаще перед нами. По коням садитесь живее, не то как в ярость впадёт — не успеете ноги унести!

Дыдыньский подсадил Еву в седло, после чего вскочил сам, изготовил пистоль, взвёл курок. Издалека сквозь пущу долетали звуки рогов, стук колотушек да зычные крики загонщиков.

— К нам выйдет! — выдохнул Нетыкса. — Эх, будь я помоложе, потешился бы с косолапым на рогатине.

Разъехались, укрывшись за кустами. Совсем рядом раздался грозный утробный рык. Следом залились лаем своры.

Дыдыньский замер в ожидании, напрягая слух. Перед ними лежало лесное урочище, укрытое пожелтевшими кустами — глубокий овраг, заросший деревьями, перегороженный трухлявыми стволами, затянутый хворостом, заваленный валунами. Что-то тяжко ворочалось в глубине. Собачий лай нарастал. Шорох и грохот раздались уже совсем близко. Медведь приближался...

Все стволы нацелились к выходу из оврага.

Медведь? Дыдыньский явственно различил перестук конских копыт... Но как? Откуда...

Со вспышкой света, отразившегося от вороненых доспехов... С гулким топотом копыт и яростным храпом могучего вороного зверя в броне... Из-под полога золотых листьев вылетел чёрный всадник в развевающемся плаще. Промчался меж деревьев быстрее ветра.

Вопли, крики...

Вспышки, грохот и пороховой дым накрыли поляну. Но пули миновали всадника. Быстро, словно в кошмарном сне, упырь понёсся туда, где стоял каштелян. Дыдыньский услышал нарастающий гул копыт, а затем свист воздуха, рассекаемого лезвием рейтарского палаша. Яцек отбросил пистоль, выхватил саблю и вихрем помчался за нападавшим.

Не поспел!

Упырь налетел чёрной бурей на побледневшего Лигензу, закрутил палашом свистящую мельницу и рубанул!

Каштелян успел заслониться. Конь под ним взвился на дыбы, Лигенза опрокинулся навзничь, а падающий скакун придавил его своей тяжестью.

Чёрный рыцарь осадил коня, его могучий жеребец взвился свечой, заплясал на задних ногах. Упырь огляделся, его очи за прорезями забрала метнулись вправо, влево...

— К оружию! Бей нечистого! — грянуло разом несколько голосов.

Холоп каштелянский подскочил ближе, занёс рогатину над головой да метнул в бок чёрному. Остриё скользнуло по доспеху, а всадник рванулся вперёд, размахнулся и рубанул слугу прямо по темени. Развернулся; сзади на него налетел Барщевский — верный прихлебатель Лигензы. Тотчас рубанул саблей в лицо, сокрытое забралом. Клинок звякнул, соскользнул по шлему, всадник отбил следующий удар шляхтича, а после молниеносно перешёл от защиты к обманному выпаду, вонзил остриё в грудь Барщевского, вогнал глубже и пронзил насквозь. Шляхтич захрипел, обмяк безвольно в седле, а после рухнул наземь бездыханным.

Упырь окинул взором поляну.

Заклика настиг его слева, Дыдыньский — справа. Оба ударили почти одновременно. Всадник отбил удар Дыдыньского, а удар Заклики принял на обёрнутый вокруг руки плащ.

Заклика снова занёс клинок. Всадник изготовился к защите, и тогда шляхтич нанёс удар, молниеносно перебросив оружие в левую руку. «Какой искусный приём!» — промелькнуло в головах у очевидцев. «Вот если бы он так сражался во время поединка с Дыдыньским...»

Клинки разминулись, но в тот же миг вороной конь прыгнул в сторону, разделяя сражающихся. Чёрный всадник замер на мгновение, словно нашёл то, что искал.

— Каштелянка! — пронзительно прозвучало в воздухе.

Побледневшая девушка в отчаянии рвала поводья скакуна, вонзая шпоры ему в бока. Её белый жеребец заржал и помчался галопом сквозь чащобу. Призрак метнулся следом. Вороной конь всхрапнул и понесся, будто сама буря. А за ним, отставая на несколько шагов, летел с развевающейся гривой гусарский конь Дыдыньского.

Деревья слились в размытую пелену, камешки и песок из-под копыт хлестали по лицам. Они вылетели на длинную поляну, усыпанную жёлтыми листьями и заросшую высохшей травой. Как ни старался конь Дыдыньского, он не мог сократить расстояние до вороного скакуна ни на пядь. А чёрный всадник с каждым прыжком настигал белого жеребца.

Каштелянка вскрикнула. В порыве отчаяния она выхватила пистолет, обернулась в седле и выстрелила в преследователя!

Промах! Пуля пролетела над плечом призрака. Яцек инстинктивно пригнулся — свинец просвистел над его головой, пробив шапку.

Чёрная стальная перчатка сомкнулась на плече каштелянки. Всадник вырвал Еву из седла и прижал к луке. Девушка отчаянно рванулась. Застёжки делии и жупана с треском разорвались, а каштелянка в последнем порыве что было сил ударила рукоятью пистолета по забралу рыцаря.

Удар пошатнул нападавшего. Он ослабил хватку, и Ева вырвалась, оставив в его руке делию. Рухнув между лошадьми, она перекатилась по траве и замерла.

Всадник развернул коня у самого края поляны. Едва он пришпорил скакуна, как его настиг Дыдыньский.

Они сошлись под засохшим дубом. Огромное дерево тянуло к небу оголённые ветви с облезающей корой. Яцек закрутил саблей мельницу над конской шеей. Противник был слева, поэтому он рубанул с этой стороны — наотмашь. Чёрный рыцарь отразил удар плоским блоком, держа клинок палаша наклонённым к земле. В тот же миг он ударил эфесом в висок Дыдыньского. Яцек уклонился — этот приём был ему хорошо знаком! Развернул коня к врагу.

Они сошлись вновь, теперь уже в затяжной схватке. Призрак рубанул влево, в последний момент отвёл клинок над защитой Дыдыньского и сделал ложный выпад для укола.

— Не вышло! — выкрикнул Яцек.

Он отбил клинок, отбросил в сторону, сам рубанул от локтя — сабля заскрежетала, соскальзывая по забралу шлема. Кони отпрянули друг от друга, всадники вновь направили их навстречу. Рыцарь ударил первым, Дыдыньский принял удар на защиту — чуть отвёл саблю, а затем провёл быстрый и короткий ответ. Призрак замахнулся, ударил справа, и тогда Яцек рубанул слева, метя в кисть. Уже во время движения он перехватил саблю обеими руками и со свистом нанёс сокрушительный удар прямо по клинку противника!

Палаш, выбитый из чёрной перчатки, прочертил дугу в воздухе и вонзился в ствол дуба.

Чёрный рыцарь пришпорил коня. Дыдыньский подскочил к лежащей каштелянке, развернул коня и замер, не спуская глаз с противника, готовый защищать её до последней капли крови. Долго они мерили друг друга взглядами.

Вдалеке разнёсся собачий лай.

Призрак медленно склонил голову. Объехав Дыдыньского широкой дугой, он помчался прочь, на скаку выдернув вонзившийся в дуб палаш. Осадив скакуна на задние ноги, он бросил последний взгляд на Дыдыньского, отсалютовал затянутой в перчатку рукой по-рейтарски и растворился меж деревьев в сгущающемся вечернем тумане.

Дыдыньский спрыгнул с коня и метнулся к каштелянке. Её чёрные волосы рассыпались по ковру из золотых листьев, а разорванный кафтанчик обнажил белую грудь с розовым соском. Шляхтич бережно поднял девушку на руки.

— Живи! — вырвалось у него шёпотом. — Живи, милостивая панна...

Слабый стон сорвался с её губ. Яцек, чувствуя исходящее от неё тепло, приник к её устам, целуя жадно, отчаянно, словно стараясь передать ей частицу своей жизни.

— Ваша милость! Эй, ваша милость!

Он нехотя оторвался от девушки, осторожно опустив её на траву. На бледном лице Лигензянки проступил едва заметный румянец — жизнь возвращалась к ней.

Дыдыньский вскочил на ноги и встретился взглядом с перепуганным Ясеком, державшим поводья коня.

— Пресвятая Дева! — вскричал слуга. — Живы?! А панна как? Очнётся ли?

В этот миг лесную тишину разорвал грохот копыт. Из сумрака вынырнули взмыленные кони, залаяли псы. Нетыкса, Заклика и несколько панов-братьев спешились, и в воздухе заплясали отблески факелов на обнажённых саблях и пистолетах.

— Боже правый! Пан Дыдыньский! — воскликнул Нетыкса. — Вы целы? А где всадник? Где панна?!

— Жива она! — выдохнул Дыдыньский.

Удивительно, но слуги не выказали ни тени радости. Один лишь Заклика бросился к каштелянке — столь стремительно, что это не укрылось от внимания Дыдыньского. Шляхтич преклонил колени подле лежащей, коснулся её щеки и приник ухом к груди.

— Дышит! — возвестил он. — Благодарение Господу!

Тут взгляд его упал на разорванную одежду. Дыдыньский почувствовал на себе испепеляющий взор Заклики.

— Весьма вольно вы обошлись с панной, вашмость! — процедил тот сквозь зубы, выхватывая саблю и надвигаясь на Дыдыньского. — На дочь самого каштеляна руку поднял?!

Дыдыньский, всё ещё под впечатлением от недавнего мастерства противника, даже не потянулся к сабле. Заклика определённо не зря провёл время после их последней стычки. Пожалуй, даже слишком не зря. Но затевать поединок в такой час было бы чистым безумием.

— Не желаете ли прежде узнать, вашмость, что сталось с таинственным всадником?

— Довольно, господа! — Нетыкса решительно встал между ними. — Поднимайте панну! — приказал он слугам.

Заклика скинул делию. Вместе со слугами каштеляна они бережно уложили на неё Еву и подняли с земли. Заклика с нежностью коснулся её щеки.

— Живи, соколица моя, молю тебя, живи, — прошептал он чуть слышно.

— А я всё видел! — выпалил Ясек, отвешивая низкий поклон Дыдыньскому. — Ваша милость бились с самим нечистым! Выбили клинок из его лап и все кости ему переломали!

— Неужто правда?! — ахнул Нетыкса. — Пан Яцек? Вы и впрямь схватились с призраком?

Дыдыньский положил руку ему на плечо.

— Что там с каштеляном?

— Конь его изрядно помял. Но выкарабкается.

— Тогда поспешим!

***6. Пароксизм и геральдика***

— Ваша милость прекрасно знает, кто этот чёрный всадник.

— Довольно! — прохрипел Лигенза, отталкивая Ясека, склонившегося над медным тазом, куда тот пускал каштеляну кровь. — Я сказал: хватит!

Ясек отвесил поклон и принялся перевязывать руку Лигензы чистым бинтом. Каштелян в ярости оттолкнул его, зашёлся кашлем и, застонав, схватился за левый бок.

— Что ты сейчас сказал? Что я знаю всадника? Откуда такие мысли?

— Он вовсе не собирался убивать вашу дочь, — Дыдыньский пронзил Лигензу взглядом зелёных глаз. — Этот всадник намеревался её похитить.

— Чтобы убить! — вскричал каштелян, пытаясь подняться. Ясек торопливо поднёс ему кубок с горячим питьём, но Лигенза отмахнулся.

— Извольте испить, ваша милость! Хоть глоток! — взмолился слуга. — Эти травы лекарь...

— Молчать, проклятый! — Лигенза выбил кубок из рук слуги и наотмашь ударил его по лицу. — Всё одно помирать... — Он снова зашёлся в приступе кашля.

Ясек отпрянул, распластавшись по полу. Лигенза тяжело навалился на стол, на губах его выступила кровавая пена.

— Всадник — это кто-то из тех, кому отказали либо панна, либо вы сами, пан каштелян, — как ни в чём не бывало, продолжал Дыдыньский. — Вспомните-ка, скольким магнатским сынкам вы велели поднести чёрный суп.

— Их было больше, чем звёзд в небе. Не отдам дочь всякому сброду... И хватит допросов! Не то забуду о нашем уговоре!

— Вы дали мне, пан, благородное слово — *nobile verbum*, что когда сыщу убийцу, награда меня не минет. А слово каштеляна — не пустой звук!

Лицо Лигензы побагровело. Рука, указующая на Дыдыньского, тряслась всё сильнее.

— В первый наш разговор пан Нетыкса обмолвился о неком Веруше... Кто он таков?

— Простолюдин... — прохрипел каштелян. — Я... Против закона... — Лигенза осёкся, грузно рухнул в кресло, лицо его наливалось чернотой. — Господи Иисусе! Спаситель... воздуха нет! — Он судорожно рванул застёжку атласного жупана.

— Ясек! Нетыкса! Живо сюда! — Дыдыньский вскочил с места. Двери с грохотом распахнулись. В комнату влетели Ясек, слуги и замковый лекарь. Они подхватили хрипящего каштеляна, сражённого ударом, и поспешно понесли в соседние покои.

Дыдыньский протяжно вздохнул и вышел на галерею. Облокотившись о перила, он прислушался к доносившемуся снизу стуку молотков. Возле входа в замковую часовню столяр сколачивал кресты из брусьев, а двое слуг вносили внутрь простые сосновые гробы.

Дыдыньский побрёл к себе. Поднявшись по лестнице и миновав длинный коридор, он замешкался в портретной зале. Его внимание вновь привлекло полотно с изображением обоих каштеляничей — Самуила и Александра. Что-то в картине заставило его насторожиться.

Почему на ней два герба? Один — несомненно Любич Лигензов, а второй — диковинный, рассечённый столбом щит с четырьмя лилиями. Не герб Лигензов. И вовсе не польский герб.

Братья были написаны неестественно близко к правому краю полотна. Словно их потеснили. Должно быть, геральдический щит у их ног некогда красовался в самом центре картины...

Дыдыньский качнул головой и направился к своим покоям. Толкнув дверь, он заметил на полу сложенный вчетверо лист. Развернув его, прочёл:

*Вельможный, Достопочтенный и Многомилостивый мне Пан Брат!Случились события, о коих я должен поведать тебе нечто важное. Ожидаю тебя нынче вечером в корчме «Под саблями» у корчмаря Берка на краковском тракте.*

Подписи не было. Дыдыньский смял бумагу в кулаке. И невольно стиснул рукоять сабли.

***7. «Под саблями»***

Корчма «Под саблями», что стояла на тракте из Львова в Краков, снискала своё название за нескончаемые свары да сабельные потехи, что творились в её стенах. Здесь паны-братья сговаривались на поединки, а саму корчму исправно сжигали каждые несколько лет. В последний раз это учинили взбунтовавшиеся солдаты львовской конфедерации. Впрочем, и за минувший год в половицы, столы да лавки впиталось столько шляхетской крови, что хватило бы выкрасить все жупаны Русского воеводства в кармазин.

Корчма ломилась от люду. Дыдыньский едва протискивался сквозь толчею гербовой шляхты. С улыбкой кивал по сторонам, отвечая на приветственные возгласы панов-братьев. Как не приветствовать — его знали и привечали во всей Перемышльско-Саноцкой земле, а за дубовыми столами, иссечёнными ударами сабель да чеканов, гулял весь цвет шляхты с этого края Речи Посполитой. Доведись пану Дыдыньскому очутиться в каком-нибудь трактире далёкой Франции али Нидерландов, его бы окружали кислые бледные рожи тамошних щёголей, что куриными глотками тянут вино из бокалов. Зажиточных мещан да трусливых кавалеров в напудренных париках. Людишек чопорных да жеманных, что слова сквозь зубы цедят да трясутся, как бы не дай Бог каплю из бокала не пролить али под стол с перепою не свалиться.

К счастью, это была корчма в Речи Посполитой, и пана Яцека окружали разрумянившиеся простецкие лица польской шляхты, а в уши били пьяные песни да разудалые возгласы. Он видел рожи, расписанные шрамами от сабельных ударов, с шишками да следами пороха. Лица румяные и бледные, с носами, что багровели от хмельного, учёные, хоть и с бесовским блеском в глазу. Русые и тёмные бритые чубы, пышные усы — иные кривые, подрезанные соседом али соперником в борьбе за панну. Лица добродушные и открытые, захмелевшие, весёлые, но паче всего — честные.

Дыдыньский вглядывался в толпу, но не приметил, чтобы кто из гостей подал ему знак. Так он прошёл через всю залу, пока не заглянул в маленький альков. Заглянул — и остолбенел.

Нетыкса.

Шляхтич восседал над кружкой пива. Сонно покачивался, уставившись в никуда. Стало быть, поджидал?

Дыдыньский шагнул в альков. С грохотом пододвинул лавку к столу и развалился поудобнее. Нетыкса приоткрыл один глаз.

— Наконец-то пожаловал, пан Яцек. Заждался я тебя...

— Внемлю.

— Сам, чай, ведаешь, о чём речь пойдёт...

— О всаднике.

Нетыкса зыркнул вправо, после влево, будто опасаясь чужих ушей.

— Всадник тот на честь и доброе имя Лигензов замахнулся. А пуще всего — на то, что пан в Сидорове пуще жизни бережёт. На каштелянку!

— Под венец умыкнуть хочет?

Нетыкса усмехнулся, опрокинул остатки пива и отставил пустую кружку.

— Всадник на вороном коне, что из тумана является. Непобедимый, неуловимый. Быстрый аки змей, отважный аки лев и... справедливый аки сама смерть.

— Как имя его?! Молви!

Нетыкса уставился в пустоту. Повисла тишина, даже в общей зале примолкли пьяные голоса.

— Ведомо мне, кто сей всадник, — прошептал он. — Знаю всю его историю. И каштелян знает, да не откроет тебе вовек, ибо до сих пор не верит, что такое могло статься. Сей всадник — призрак.

— Призрак?!

— Думал я, не восстанет чёрный дьявол из могилы. Ан ожил, поднялся из мёртвых, хоть своими очами видел я отрубленные головы его товарищей.

Дыдыньский впился взглядом в очи Нетыксы.

— Так что же? Молви, молви, пан брат!

— Был у каштеляна слуга, — начал Нетыкса, — некто Христиан фон Турн. Выдавал себя за вюртембергского дворянина, но, сдаётся мне, был он не кем иным, как силезским ублюдком, что нагло присвоил себе чужой герб. Пан Лигенза, поверив ему, назначил начальником стражи и приблизил к себе. Когда молодые паничи повзрослели, отправил его с ними в чужие края. Привечал его каштелян при дворе, кормил-поил, милостями осыпал. И напрасно, ох напрасно! От господских щедрот у чёртова отродья совсем разум помутился. День ото дня всё наглее становился, всё дерзновеннее. И вот как-то раз поехал каштелян в Краков. А по дороге — как чёрт подстроил! — напала разбойничья шайка. Всю челядь перебили, гайдуков порубили. Быть бы и самому пану мёртвым, да тут Христиан подоспел. Явился вовремя со своими людьми и спас господское горло от лихой сабли.

— И чем же отблагодарил его каштелян? — подался вперёд Дыдыньский.

— Дал благородное слово — отдать всё, чего тот ни попросит, хоть замки, хоть целые староства. Но ублюдок... — Нетыкса сплюнул с омерзением. — Ублюдок запросил такое, от чего ясновельможного пана едва удар не хватил.

— Неужто денег?

— Куда там! Руки панны Евы потребовал, вот что!

— И что же, согласился каштелян?

— Дал слово шляхетское, что отдаст дочь. Только с одним условием — когда панне двадцать один год сравняется. Хитро придумал пан Лигенза, ничего не скажешь! Дело было аккурат перед разгромом под Цецорой. Христиан на войну собирался, даже роту рейтар получил в полку его милости пана Казановского, а панна-то совсем дитя была. Думал каштелян — либо сгинет ублюдок в битве, либо думать забудет про своё сватовство. Да не тут-то было! После Хотинской битвы объявился он в наших краях, да не один явился!

— С кем же?

— С целой оравой головорезов! Собрал вокруг себя вольных рейтар, которым жалованья не выплатили, и давай с ними сёла да города грабить. Каштелян трясся от страха, что явится тот за панной, но тут счастье улыбнулось. Христиан совсем озверел — убивал без разбору, над крестьянами особо лютовал. Тогда-то и пошла о нём недобрая слава — прозвали чёрным всадником али чёрным упырём. Всё в чёрных рейтарских доспехах разъезжал, лица никому не показывал. Да только сгубили его холопы. Сперва староста Красицкий его шайку разгромил, а после в какой-то деревушке настигли его разъярённые мужики и косами порубили. Его и дюжину рейтар заодно. Сам Христиан в бою пал, а рейтар мужики живьём взяли да всем головы посносили косами. Все думали — сгинул чёрный всадник, как не бывало. И вдруг... Минул май этого года, панне двадцать один год исполнился... И тут первый труп объявился.

Нетыкса закашлялся до хрипоты.

— Чёрный всадник вернулся, — прохрипел он. — В тумане прячется, смертью разит. Хочет утащить в преисподнюю то, что, мол, по праву ему причитается... Забрать в адово пекло панну Лигензянку...

— Еву?! — вскричал Дыдыньский.

— Панну каштелянку, истинно так, — кивнул Нетыкса. — Пан Лигенза дал ему слово шляхетское. А пан Лигенза своему слову никогда не изменял.

— Какой герб носил этот Христиан?

— Четыре лилии на щите, надвое рассечённом...

Яцек застыл как громом поражённый. Всё поплыло перед глазами. Тот самый герб с портрета! Туман в голове начал рассеиваться...

— Либо Христиан тогда не сгинул, — процедил сквозь зубы Дыдыньский, — либо кто-то прознал про эту историю и морочит всех, прикидываясь всадником. Я же с ним бился... Не упырь он, нет... Вставайте, ваша милость! — вскочил он. — Медлить нельзя!

— Куда это вы собрались?

— К могиле этого Христиана веди! Коли впрямь погиб — там его кости лежать должны. А коли нет — стало быть, жив он.

— Сейчас?! Ночью?!

— Ни минуты терять нельзя!

Нетыкса вскочил на ноги. Захромал прочь, стуча деревяшкой по полу. Дыдыньский поспешал за ним, чуть не наступая на пятки.

Выбрались в сени, оттуда потянулись к конюшне, что притулилась за корчмой. Дыдыньский с усилием отворил тяжёлую дверь. Ступили в просторное стойло, где густо пахло конским потом, прелым сеном и кислым навозом. Пока они вели беседу, опустилась глухая ночь. Одна лишь луна любопытно заглядывала в окна сквозь мутные стёкла.

Нетыкса зычно окликнул конюха, но в ответ — лишь гробовая тишина. Заковылял к огромным воротам, ведущим во двор, грохоча деревянной ногой по рассохшемуся настилу. Дыдыньский сам отыскал своего жеребца, набросил седло, затянул подпруги под брюхом, приладил мундштук с удилами... Глянул на ворота — и кровь застыла в жилах... Что-то было не так. Луна светила в полную силу, её свет пробивался в щель под створками, но посередине отблеск раздваивался, будто снаружи кто-то заграждал его чёрной тенью...

Донёсся едва слышный шорох, и он всем нутром почуял, как нечто огромное и зловещее преграждает лунный свет с другой стороны.

— Не трожь ворота, пан! — вскрикнул он в отчаянии.

Поздно!

Нетыкса с силой рванул обе створки. Ворота распахнулись с протяжным замогильным скрипом.

Господи Иисусе...

Всадник...

Дыдыньский успел различить только багровые, как угли в печи, глаза коня да зловещий блеск обнажённого палаша. Нетыкса кинулся прочь, всхлипывая на ходу.

Огромный вороной взвился на дыбы, заржав как исчадие ада...

Колченогий с воплем мчится к корчме...

Дикое ржание, смертоносный свист стали...

Нетыкса споткнулся, застыл, накренившись — деревянная нога намертво застряла меж досок. Дёрнулся раз, другой, да не смог вырваться из проклятой западни. С отчаянным криком рубанул саблей по деревяшке — раз, два, три.

Не поспел! Быстрый как сама смерть всадник пронёсся мимо. Лезвие палаша со свистом рассекло воздух, и отсечённая голова Нетыксы глухо покатилась к стене.

Всадник осадил коня, крутанулся в седле и ринулся к дверям, вылетел во двор как чёрный вихрь.

Дыдыньский молнией взлетел в седло, вонзил шпоры в конские бока и помчался следом.

Вырвались в непроглядную ночь. Вороной нёсся как сам дьявол, не ведая устали. Грозовой тучей промчались по тракту, а после — резко на юг. Проскакали вброд неглубокую речушку, где клубился молочно-белый туман, и влетели в дремучий лес. Узловатые ветви, словно скрюченные пальцы, мелькали перед глазами Дыдыньского. Полная луна просачивалась сквозь густые кроны, рассыпая серебристые блики по изумрудному мху и сочным папоротникам.

Всадник вылетел на просторную поляну, придержал коня, сбавил бешеный ход. Дыдыньский выхватил саблю.

— Стой, Христиан! Довольно беса тешить!

Всадник застыл как изваяние. Медленно, будто в жутком сне, обернулся к Дыдыньскому. У Яцека леденящий холод пробежал по спине, когда он узрел чёрные провалы в забрале. Не разглядеть было глаз, не видать адского пламени... Ничего... Лишь бездонная тьма.

Что таилось за этим забралом... Отдал бы коня со всей драгоценной сбруей, только бы увидеть лицо... Лицо чёрного всадника.

— Пан фон Турн! — крикнул он, и эхо разнесло его голос по лесу. — Открой своё истинное обличье!

Чёрный всадник занёс палаш для удара и, подобно урагану, ринулся на Дыдыньского.

Они сошлись посреди поляны, залитой лунным светом. Чёрный дьявол рубанул наотмашь, потом слева, справа и по запястью. Дыдыньский увернулся, нанёс ответный удар, парировал коварный выпад и обрушил короткий удар на голову противника. Они бились в неистовстве, задыхаясь, обменивались яростными ударами. Их кони с визгом бросались друг на друга, оскалив зубы.

Внезапно Дыдыньский отбил в сторону удар тяжёлого палаша. Затем нырнул под лезвием, готовясь нанести смертельный укол. Но в последний миг передумал. Стремительно, будто змея, выскользнул из седла и всем телом врезался в закованную в броню грудь противника, стиснув его в объятиях.

Вороной конь взвился на дыбы, чёрный всадник запрокинулся назад и вывалился из седла. Они рухнули на камни, отлетев друг от друга. Дыдыньский прикрыл голову, перекатился по земле, а всадник грянулся спиной о камни.

Пан Яцек мигом вскочил и настиг противника. Его сабля со свистом рассекла воздух, отбросив в сторону лезвие тяжёлого палаша. Шляхтич что было силы ударил ногой — пинком тяжёлого, подкованного сапога вышиб оружие из руки врага.

Затем припечатал левой ногой грудь всадника и приставил саблю к его шее, затянутой в кожу.

— Кто ты?! — прохрипел он. — Покажи своё лицо.

Чёрный всадник безмолвствовал, застыв неподвижно. Дыдыньский повёл остриё сабли выше, к шлему. Осторожно поддел забрало.

Лицо!

Сейчас он увидит лицо всадника!

Одним резким движением откинул забрало.

Конское храпение, грохот копыт.

Дыдыньский отпрянул в сторону, перекатившись по камням.

Огромный вороной конь с кроваво-красными глазами промчался над ним. Развернулся и двинулся на шляхтича, вытянув оскаленную морду. Прыгнул прямо на Яцека, намереваясь растоптать его копытами. Дыдыньский в последний миг увернулся, рубанул саблей сбоку по морде чудовища. Конь пронзительно заржал от боли, развернулся на месте. Дыдыньский отступил. За спиной раздался лязг стали. Он попытался оглянуться через плечо, но услышал свист лезвия, и что-то с силой ударило его в бок. Он провалился в бездонный тёмный колодец без стен и падал, падал, падал...

***8. Nobile verbum***

Он не рухнул в пустоту и не разбился о камни. Опустился на что-то мягкое. Лежал в тишине, вслушиваясь в потрескивание огня в очаге. Открыл глаза и увидел над собой побелённый потолок с балками, по которому плясали отблески пламени.

Он лежал на лавке в простой избе с земляным полом. В открытом зеве хлебной печи полыхал огонь. В его свете виднелись простой стол, деревянная бадья, поленница в углу, деревянное корыто, валёк для стирки и несколько глиняных горшков. Дыдыньский вскочил на ноги. Сердце гулко забилось — первой мыслью было, что он в плену. Однако эта изба походила скорее на каморку в крестьянской хате, чем на разбойничье логово. Едва встав на ноги, он ощутил острую боль в левом боку. Потрогал его и нащупал под пальцами плотную повязку.

«Жив, — подумал он. — Не убил меня».

Он прошёлся по горнице. Ставни были наглухо закрыты. Любопытно, подумал он, заперты ли и двери. Двинулся было к ним, да остановился. За печью что-то было спрятано.

В щели обнаружил саблю — простую баторовку с широким, плавно изогнутым лезвием, длинной крестовиной да скошенным основанием навершия.

Кроме сабли Дыдыньский выудил ещё кое-что. Малый свёрток, в котором блеснуло золото... Перстень! Шляхетский перстень с выбитым знаком овина. То был герб Лещиц.

Дверь скрипнула и отворилась настежь. Дыдыньский ухватился за рукоять сабли. В горницу вошёл приземистый, плечистый мужик в бараньей шапке да крестьянской свитке. А следом... Следом с виноватым видом прошмыгнул Ясек. Незнакомец застыл, узрев саблю в руке пана Яцека.

— Эй, полегче, пан рубака, — проворчал он. — Едва очнулся, а уж за саблю хватаешься?

— Его милость едва не порешили, — поклонился Ясек. — Сыскали мы вас у тракта, в лесу. Над вами конь стоял — перепуганный весь, искусанный.

— Погоди-ка, Ясек, — молвил мужик в шапке. — Как видишь, пан, не разбойники мы, а по-христиански выручили тебя из беды. Я — Миколай Веруш, отец твоего слуги Ясека. А ты, пан, держишь в руке мою саблю.

— Извольте получить. — Дыдыньский протянул ему баторовку. — Перстень, стало быть, тоже ваш?

— Истинно так.

Дыдыньский поглядел на перстень, после на Веруша.

— Как же так выходит? Ясек — холоп, сам сказывал, — а родитель его перстнем печатается?

— Отняли у меня шляхетство.

— Отняли? Разбойники? Подстерегли да хвать! — отобрали?

— Не разбойники. Один разбойник, самый лютый во всём повете. Пан каштелян из Сидорова. Пан Лигенза. Так ему по нраву пришёлся наш хутор, что оспорил наше шляхетство и обратил в холопов. Ясек тогда махоньким был. Прежде величался я Верушовским герба Лещиц. Ныне — просто Веруш.

— Не ведал я того, — пробормотал Дыдыньский. — Но всё едино благодарствую за помощь да спасение жизни, пан-брат.

— Тогда и ты мне услужи.

— Чем же?

— Брось гоняться за чёрным всадником.

— Что?! Отчего же?

— Всадник волю Божью вершит. По справедливости карает грешников. Неправедно властвовал пан Лигенза, попирал слово и клятвы, грабил соседей, брал, что душе угодно — чужих жён, девок и дочерей, сёла, замки да местечки. А ныне всадник отнял то, что Лигенза пуще всего любил. Его сыновей. И дочь заберёт.

— Оттого так молвишь, что ненавидишь Лигензу. Сколько безвинных душ загубил всадник? Скольких порешил?

— А тебя-то разве порешил?!

Дыдыньский потупил взор. Пощупал бок... Эта рана никак не могла быть смертельной.

— Он губил людей пана каштеляна. Его холопов, его гайдуков, его прихлебателей, — продолжал Веруш.

— Чем же провинился арендатор, коего он первым разрубил?

— Пан Любич был байстрюком каштеляна. Лютым псом над нами. Это он поставил батюшку моего Себастьяна на четыре ночи к позорному столбу, покуда старик Богу душу не отдал...

— Всадник — человек аль упырь?

Миколай кивнул Ясеку. Парень вышел в соседнюю горницу. Приволок тяжеленный холщовый мешок. Кряхтя, вздёрнул его на стол. Верёвка распустилась. Зазвенело злато, на стол посыпались свёртки червонцев, дукатов, серебряных грошей, прусских талеров, флоринов, квартников да медных шелягов...

Дыдыньский онемел. Опёрся о стол и с недоверием уставился на груду золота.

— Всяк ведает, что ты саблю за деньги в наём сдаёшь. Каштелян сулил тебе десять тысяч червонных. Так вот здесь двенадцать. Бери да езжай, куда душа пожелает.

Дыдыньский покачал головой.

— Не бойся, это не золото Верушовских. Не ТОЛЬКО Верушовских. Но мы тоже внесли свою лепту.

— Дело не в золоте! Я дал шляхетское слово. Verbum nobile debet esse stabile!

— Всё мало тебе?

— Не о деньгах речь.

Верушовский отстегнул от пояса тощий кошель и бросил на стол.

— Бери, бери всё.

— Не деньги держат меня здесь, — медленно произнёс Дыдыньский. — Я поклялся одолеть всадника, и честь свою блюду. Хочу увидеть, чьё лицо скрывается под забралом его шлема.

— А откуда знаешь, не своё ли лицо там увидишь?

Дыдыньский упёр руки в бока. Грозно посмотрел на Верушовского.

— Говори, что знаешь о всаднике.

— Ничего не скажу.

— Я мог бы отвести тебя к каштеляну. Под пытками ты бы и в распятии Спасителя нашего признался.

— Не сделаешь этого. Ты — Дыдыньский, не Лигенза.

— Спасибо тебе за заботу, пан Веруш. Если одолею всадника, уговорю каштеляна вернуть тебе шляхетство.

— Не уговоришь.

— Почему?

— Потому что погибнешь. Всадник тебя убьёт.

— А почему не сделал этого до сих пор?

— Ты выбил у него саблю, но дал уехать. А он человек чести, как и ты. И как ты, дал слово, что утащит каштелянку в преисподнюю. Чьё слово крепче, твоё или его? Не жди пощады во второй раз.

Наступила тишина. Дыдыньский прислушался к потрескиванию дров в очаге.

— Ясек, принеси жупан и делию!

— Пан Дыдыньский, — тихо сказал Верушовский, — всё было не так, как рассказывал Нетыкса. Христиана фон Турна не убили крестьяне, озлобленные грабежами. Он попал в западню, устроенную людьми каштеляна Лигензы. Его заманили в одно место и убили.

— Кто заманил его в западню?

Веруш молчал. Дыдыньский долго смотрел на него. А потом вышел из избы в тёмную ночь.

***9. Exitus***

Лигенза умирал. Тени свечей у ложа каштеляна отбрасывали золотистый свет на его лицо. Проступали чёрные круги под глазами, выпирали скулы. Это было лицо мертвеца. Привезённый из Львова художник уже закончил надгробный портрет на оловянной пластине, а на башнях Сидоровского замка развевались чёрные знамёна.

— Да, это правда, — прохрипел каштелян. — Жил когда-то Христиан фон Турн, которого я велел приютить при дворе, а он полюбил мою дочь. А теперь вернулся чёрным всадником. Не знаю, тот ли это байстрюк, или кто-то, кто под него рядится. Шесть лет назад я велел его убить, заманил в ловушку, но он восстал из могилы.

Каштелян закашлялся. Лекарь, дежуривший у ложа, подал ему зелье в чаше. Лигенза с трудом сделал несколько глотков.

— Он придёт сюда... Придёт за Евой, заберёт её. Но это уже не имеет значения.

— Почему?

— Я умираю. Мои владения... Всё добыто моей кровью. Смотри, — прохрипел он и указал рукой на столик, где громоздились стопки бумаг. — Уже знают. Уже собираются... Когда волк падает, щенки рвут его на части. Дочь не удержит имений. Даже если не убьёт её всадник, родичи и соседи возьмут под опеку и разграбят всё...

— Я дал тебе слово, пан, что убью чёрного всадника. И слово сдержу.

— Я обещал тебе десять тысяч. Но теперь хочу заключить с тобой новый договор, — с усилием продолжал Лигенза. — Спаси Еву, убей всадника, а... назначу тебя её опекуном. Получишь девушку и всё имение. Пятьдесят деревень, что я вырвал у дьявола из глотки... Эх-кххеееееееее. Эх-кхеееее!

Каштелян снова захрипел, схватился за грудь. Давился, захлёбывался собственной слюной.

— Рррразве не хороший уговор? Убьёшь всадника, а потом получишь опеку.

— Много даёшь. Слишком много для каштеляна Януша Лигензы.

— Выбора нет. Тттолько тыыы. Тыыы один вышел живым из схватки с ним. Другииие... Я нанимал других, Рожнятовского, Дембицких... Все погибли... Только тыыы сможешь его одолеть. И я знаю, что между тобой и Евой...

— Пусть это будет прописано на бумаге.

— Получишь... сейчас же, прикажу внести в замковые книги.

— Я хочу знать, где похоронили фон Турна.

— Эттто под Наружновичами... Там... Найди перекрёсток. Не сворачивай ни вправо, ни влево, иди на юг, прямо, где нет дороги. Дойдёшь до леса, до оврага. А в овраге стоит часовня со времён чумы. Там мои люди убили рейтаров и оставили тела.

— Его похоронили в доспехах?

— Прочь! — закричал каштелян. — Прочь отсюда! Чего встали. Я не, я не... Иисусе! Матерь Божья!

Дыдыньский вышел из комнаты. Лекарь и двое слуг кинулись к Лигензе. Один из них оглянулся, не смотрит ли кто, и быстро сдёрнул с руки умирающего перстень с рубином.

Пан Яцек вышел в галерею и поднялся по лестнице в зал с портретами.

Картина с братьями Лигензами висела на прежнем месте. Дыдыньский посмотрел на герб с четырьмя лилиями, потом взял тяжёлое полотно и снял с крюков. Подержал его перед собой и бросил на пол. Деревянная рама тут же треснула. Дыдыньский оторвал её от холста. Как он и предполагал, правый край картины не был обрезан, а смят и заправлен под раму.

Он расправил холст и вгляделся в портрет.

Неизвестный фламандский художник изобразил трёх мужчин. Там были Самуил, Александр и...

Третий.

Христиан фон Турн.

Высокий юноша в рейтарских доспехах. Без шлема. Но...

У него были длинные тёмные волосы, а проницательные глаза смотрели внимательно и спокойно. Однако Дыдыньский не видел его лица. Кто-то содрал краску ниже глаз фон Турна, соскрёб её ногтем так, чтобы никто и никогда не смог разглядеть черты лица юноши.

— Пан Яцек!

Он обернулся. Перед ним стояла Ева в чёрном платье. Она не прикрыла волосы ни вуалью, ни чёрным платком.

— Я была у отца, он назначил вас опекуном... Я... Вы защитите меня?

Дыдыньский молчал.

— Пан Яцек. Я люблю вас столько лет, с тех самых пор, как вы впервые приехали к моему отцу... Вы хотите меня?

Он выпустил портрет, и тот с грохотом упал на пол. А потом заключил её в объятия. Её губы сразу нашли его губы, её язык стремительно скользнул между ними, а руки Дыдыньского сжали тонкую талию, скользили по спине, забрались под платье, под фижмы. Она провела рукой по его лицу, он ощутил её ногти, будто когти, готовые разодрать ему кожу и изуродовать навеки, если бы только...

Если бы только она не любила его так сильно.

— Да, — выдохнула она между поцелуями, — ты убьёшь его, мой господин. А потом возьмёшь меня. И замки, и усадьбы, и поместья, и староства Лигензы... Только уничтожь его, прошу...

— Я поклялся, что он будет мёртв!

Он целовал её шею, распахнул вырез платья, добрался до груди.

— Ваша милость, эй, ваша милость! — раздалось сзади.

Дыдыньский оторвался от прекрасного тела Евы. В дверях стоял Ясек, и на его лице застыли изумление и ужас.

— Ах ты, холопский сын! — вскричала каштелянка. — Нос тебе вырву, а глаза прикажу выжечь! К позорному столбу отправлю! Какого чёрта припёрся!

— Ваша милость... Конь осёдлан, доспехи готовы...

— Мне пора, — прошептал Дыдыньский. — Но я вернусь! Вернусь за тобой!

— Я буду ждать... Ждать тебя, господин мой...

Дыдыньский чувствовал, как всё его тело охватывает лихорадочный жар. Он желал каштелянку так сильно, что в этот миг готов был убить любого, сжечь целый свет, захватить все замки на свете — только бы получить ещё один её поцелуй...

— Люблю тебя! — крикнул он. Она смотрела на него полными слёз глазами. Потом сняла с шеи крестик и протянула ему.

— Он принесёт тебе удачу.

Она слушала его шаги на лестнице. Затем подняла портрет с пола и швырнула в пламя очага.

— Отправляйся в преисподнюю! — прошептала.

Она хлопнула в ладоши и широко улыбнулась, услышав скрип открывающейся двери.

***10. Часовня черепов***

Овраг, по которому ехали Дыдыньский и Ясек, становился всё более диким и непроходимым. Они проехали уже больше трёх миль от перекрёстка, а часовни всё не было видно. Кони тревожно фыркали, перепрыгивая поваленные стволы, то и дело увязали в трясине или спотыкались о камни и корни. Вокруг всадников простирался дремучий бор — одно из диких урочищ на склонах гор Червонной Руси. В его глубинах водились дикие звери, иногда попадались одичавшие, опасные смолокуры или разбойники. По деревням судачили об оборотнях и упырях, что рыщут по этим лесам, а в усадьбах рассказывали, как не раз на охоте вместо волков и медведей ловили волчьих детей-чудищ, обросших шерстью, с огромными кривыми клыками и страшными мордами.

Они забирались всё глубже в чащу... Дыдыньский уже думал, не обманул ли его каштелян, когда вдруг ветви расступились. Они выехали на большую поляну. На её краю высилось приземистое строение с крутой крышей. Кони всхрапнули и попятились, не желая идти дальше. Дыдыньский спешился, взял жеребца под уздцы. С конька крутой крыши часовни скалились человеческие черепа... Стены и кровлю покрывали серые и жёлтые, подгнившие и поломанные кости... Такие часовни строили здесь во времена чумы, лет сто или двести назад.

Ясек перекрестился, а Яцек привязал коня к дереву и встал в дверях с обнажённой саблей.

На каменном полу громоздились груды костей, повсюду валялись черепа. У ног Дыдыньского лежали прогнившие лохмотья и проржавевшие обломки доспехов, перемешанные с костями.

В глубине помещения, у старого алтаря, пан Яцек заметил слабый огонёк.

Он вошёл внутрь. Перед глазами встала картина: как швыряли сюда окровавленные тела, как насаженные на древки косы опускались на головы связанных рейтаров. Даже спустя годы на камне темнели бурые пятна крови.

Он шёл по хрустящим костям, задел череп — тот со стуком покатился в сторону. Добрался до алтаря. Каменная плита была расколота — её раздавили корни деревьев, пробившиеся сквозь пол. Они оплели камень, стиснули и разбили на куски.

У алтаря горела свеча. Дыдыньский осмотрелся в поисках тела в чёрных доспехах, но ничего не нашёл. Нигде не было ни шлема, ни клочка чёрного плаща. Здесь не было останков Христиана.

— Ваша милость, ваша милость, — прошептал Ясек. — Это люди свечу зажгли, чтобы злых духов отогнать.

— Твой отец был здесь, когда разбили отряд фон Турна?

— Нет, всё случилось не здесь. Крестьяне и гайдуки пана Лигензы настигли их возле нашего хутора... Под Верушовой... Мой отец помогал каштеляну устроить засаду.

— Прочь отсюда!

— Милостивый пан Дыдыньский... Неужели вам непременно нужно его убить?

— Я дал слово Лигензе.

— Он жестокий человек, без чести и совести! — вспылил Ясек.

Дыдыньский заметил блеснувшие в глазах парня слёзы.

— Но почему...

— Потому что я — Дыдыньский. И я всегда держу данное слово! Беги! Не хочу, чтобы ты пострадал...

— Пан...

Одним стремительным движением пан Яцек рассёк воздух саблей. Срезанный фитиль упал на алтарь. Ещё мгновение он горел, мерцая, и погас.

— Это приказ! Прочь!

Ясек огляделся.

— Быстрее! Шевелись!

Парень бросился к выходу. Яцек услышал затихающий стук его сапог, потом ржание коня, и всё стихло.

Долго стоял он у алтаря с обнажённой саблей. Наконец отстегнул ножны и швырнул их на каменный пол, заправив полы жупана за пояс. И стал ждать.

Издалека донёсся грохот тяжёлых копыт. Огромный конь нёсся длинными прыжками сквозь заросли. Трижды громко заржал. А потом... Потом Дыдыньский услышал лязг металла. Грохот тяжёлых шагов. Прерывистое дыхание. И свист палаша, покидающего ножны.

Он ждал, обратившись к входу.

Лязг. Грохот. Лязг. Тяжёлое дыхание всё ближе. Лязг чёрных доспехов! Замах! Зловещий свист палаша!

Присел, уклонился, ударил, принял на блок, сделал обманный выпад. Шелест плаща, визг гусарской сабли!

Дыдыньский увернулся от удара, который снёс бы ему голову. Присел, крутанулся в пируэте, сам атаковал. Чёрный призрак отбил лезвие гардой клинка, нанёс широкий удар от локтя, затем крестовый от плеча.

Блеск! Финт! Удар! Парирование!

Кости хрустели под их коваными сапогами. Клинки сверкали молниями. Чёрный рыцарь рубанул влево, схватив палаш обеими руками. Дыдыньский уклонился, перекатился через алтарь, а палаш врезался в камень, с грохотом отколов кусок и обрушив его на пол.

Они бились как равные. На каждый удар находилась защита, на каждый выпад — отбив.

Удар, финт, уклонение, выпад!

Костяная колонна рухнула с грохотом, когда на неё отбросило Дыдыньского. Он мигом перекатился по полу. Чёрный рыцарь рубанул палашом, промахнулся. Каменная плита разлетелась вдребезги.

Дыдыньский оттолкнул его ногами, вскочил с пола. Польская сабля заскрежетала по доспеху, постамент покачнулся, задетый панцирным плечом рейтара, рассыпался в щебень, подняв облако пыли. Вместе с ним обрушилась часть костяной стены, и в часовню хлынул свет.

Чёрный рыцарь пошатнулся. Сабля дважды звякнула по его доспеху. Дыдыньский извернулся змеёй и рубанул противника по ноге чуть ниже колена. Чёрный отступил, а потом, выронив палаш, бросился на Дыдыньского! Схватил закованными в сталь руками шляхтича за горло, швырнул назад, намереваясь размозжить ему голову о каменный постамент.

Дыдыньский молниеносно отбросил саблю, выхватил правой рукой кинжал и, падая, что было сил, вонзил его наискось под мышку рейтара, где не защищали доспехи... Чёрный всхрипнул. Дыдыньский ударился головой о камень — перед глазами вспыхнули звёзды, рот наполнился солёным вкусом крови. Они рухнули на пол. Рейтар повалился набок, хрипя. Попытался подняться, но только опрокинулся на спину, судорожно дёрнулся и затих.

Пан Яцек вскочил на ноги. Тёмные пятна плыли перед глазами. Кровь из разбитой головы струилась за воротник жупана.

Пошатываясь, он подошёл к чёрному всаднику.

Конец... Наконец-то всё кончено.

Ева... Тихая Ева. Теперь она будет его. У него будет всё... Как же он жаждал её в этот миг.

Он склонился над телом в чёрных вороных доспехах с лилиями. Сейчас он увидит его лицо.

Осторожно коснулся забрала. Чей облик таится под ним... Кто это? Верушовский? Лигенза? Заклика? Ясек? Кто-то иной...

Он поднял забрало и застыл. Из-под тяжёлого шлема на него смотрела пара мёртвых голубых глаз...

Под ними не было лица. Облик этого человека изуродовали чудовищными пытками. Вместо носа — дыра, обрывки губ обнажали пожелтевшие, выщербленные зубы.

Вот почему он прятал лицо!

Сбоку, под мышкой, растеклась огромная лужа крови...

Портрет! Лик, с которого содрали краски.

Он опустил забрало на изуродованное лицо. Кто и когда так изувечил этого человека? За что?

Потянулся к кошелю убитого. Золота там не нашлось, только бумаги. Письмо, сложенное вчетверо и запечатанное гербом Лигензов — Любичем.

*Высокородный и возлюбленный пан-брат.Люблю тебя и не могу прогнать из мыслей с той поры, как увидела в отцовском доме. Знаю, что батюшка поднёс тебе чёрную похлёбку, но скажу так — не беда! Сбежим, как ты хотел, в Силезию. Жди меня послезавтра в полдень у креста на распутье близ деревни Наружновичи. Там свидимся, любимый мой. Молю, дождись...*

*Ева из Лигензов*

Письмо выскользнуло из рук Дыдыньского. Он пошатнулся, опустился рядом с чёрным рыцарем, прислонился к его доспехам. Так и сидели они рядом — мёртвый и живой, связанные страшной правдой.

Уже смеркалось, когда он уложил Христиана фон Турна в часовне на вечный покой, вскочил в седло и растворился в сумерках.

***11. Чёрный всадник***

Грянул мушкетный выстрел. Конь Дыдыньского с пронзительным ржанием рухнул наземь. Всадник упал, придавленный его тушей.

Четыре тени метнулись к нему. Один меткий удар прикладом — и Дыдыньский потерял сознание. Его тут же скрутили и поволокли к дереву. Прислонили к стволу.

Дыдыньский медленно пришёл в себя. Разлепил веки. Холопы. Четверо. В цветах Лигензов.

Старший, с пышными усами и лицом, изрытым шрамами, навис над шляхтичем.

— Готовься к смерти, кавалер. Молись.

— Видать, еретик! — оскалился второй.

— Всё равно умру, — процедил Дыдыньский. — Скажите только, кто велел меня убить.

Они переглянулись.

— Как кто? Панна-каштелянка. Ей приказывать, нам исполнять.

— Насыплем тебе курган повыше. Камнями завалим.

— Чтоб не встал из могилы, как тот чёрный всадник.

Старший рывком вздёрнул Дыдыньского. Остальные вскинули ружья.

Глухо грянули выстрелы. Один из холопов рухнул замертво. Второй упал навзничь, забился в судорогах.

Две тени выпрыгнули из-за кустов. Старый гайдук схватился за пистолет, но не успел прицелиться — Дыдыньский, хоть и связанный, подсёк ему ноги. Пуля просвистела мимо Яцека, выбив щепу из дерева. В тот же миг чекан Ясека раскроил череп холопу. Последний из врагов выхватил саблю, сцепился с Верушем, а после рухнул пронзённый, издал последний стон и затих.

— Едва поспели! Ей Богу, едва! — выдохнул Ясек.

Веруш с сыном подняли Дыдыньского. Разрезали путы. Старик торопливо влил в рот шляхтича глоток горилки.

— Век вам благодарен, пан Верушовский, — прошептал Дыдыньский. — Отпустило.

Долго сидели они, глядя на убитых, на кровь и брошенные аркебузы. Наконец Яцек нарушил молчание:

— Я убил его.

— Знаю. Недолго ему оставалось. Тогда, шесть лет назад, жизнь его кончилась. Приехал он к часовне со своими людьми. А там уже ждали люди Лигензы. В западню заманила его каштелянка... Панна Ева. Велела изуродовать. Потому и прятал лицо.

— Ты помогал ему?

— А почему нет? Но не убивал.

— Откуда он взялся?

— Полгода назад объявился. Сказал, что смерть лучше такой жизни.

— Мести искал?

— Ничего иного у него не осталось. Что теперь, пан Дыдыньский? В леса подадимся?

— Нет. — Яцек криво усмехнулся. — Я ещё не свёл счёты. Едем.

— Куда же?

Дыдыньский промолчал.

***12. Замок скорби***

Пламя взревело, пожирая крышу костёла. Пахнуло жаром, ужасом, затрещали рушащиеся балки. Огромное зарево затопило весь город.

Чёрный рыцарь и всадник на белом коне застыли среди дыма и огня. Кони храпели, обезумев от близости пламени, рвались прочь.

— Куда, чёрный дьявол! — крикнул Заклика, едва удерживая вставшего на дыбы коня. — Отпусти панну! Оставь её! Я не Дыдыньский... Он был глупцом!

— Пан Заклика, я люблю вас! — вскричала каштелянка. — Убейте его! Убейте, умоляю! — зарыдала она. — Я не...

Всадник ударил её латной перчаткой в висок. Голова Евы безжизненно откинулась.

Заклика с яростным рёвом вонзил шпоры в бока коня. Он мчался прямо на чёрного всадника. Как вихрь налетел на рейтара. Его сабля рассекла воздух, нанося смертельный удар.

Сталь лязгнула о сталь... Клинок отскочил от клинка.

Свист сабли.

Кони шарахнулись в стороны. Заклика вскрикнул — сабля чёрного всадника полоснула его по руке. Схватился за предплечье, пальцы нащупали кровь.

— Прочь с дороги, — прозвучал ледяной голос, — и останешься жив.

— Тогда отпусти её! Отпусти мою ненаглядную!

— Нет, пан Заклика. Она принадлежит мне!

Шляхтич пустил коня во весь опор. Копыта загрохотали по камням. Всадник вонзил шпоры в бока скакуна. Кони разминулись на волосок. Сабля Заклики разошлась с вражеским клинком...

Гусарская сталь рассекла кольчугу словно паутину, с хрустом вошла в кости.

Заклика осадил коня, в изумлении глянул на хлещущую из бока кровь, выронил саблю и сполз по конскому крупу наземь. Конь взбрыкнул, сбросил седока и унёсся к воротам.

Заклика упёрся ладонями в землю. Попытался подняться, но тщетно.

— Смерть моя! — выкрикнул он.

Повернулся к всаднику.

— Всё равно умираю, — простонал. — Так покажи лицо своё. Хочу знать, кто ты.

Всадник помедлил. А потом рывком поднял забрало. Зарево пожара озарило молодое, смуглое, иссечённое шрамами лицо. Лицо Яцека Дыдыньского.

Заклика застонал.

— Вы дали слово, — прохрипел он. — Поклялись Лигензе убить всадника.

— Я сдержал клятву. А сверх ЕГО смерти ничего не обещал...

— За что... Я люблю Еву... Никто...

— Спи, — прошептал Дыдыньский. — Спи, пан Заклика. И не думай о ней более.

Заклика рухнул навзничь, раскинув руки, и так застыл — бездыханный, в луже крови, подле боковой калитки пылающего костёла.

Чёрный всадник тронулся с места. Далеко в ночи разносился зловещий грохот копыт и жуткий храп вороного. Он мчался прямиком в преисподнюю, чтобы вернуть дьяволу то, что давно ему принадлежало.

***13. Ex oriente lux***

Они сидели на ковре в горнице турецкого купца Селамета Улана в Каменце. Багровые отсветы пламени метались по стенам и бревенчатому потолку, выхватывая из мрака два лица — мрачное Дыдыньского и хитрое обличье Селамета, украшенное жидкой длинной бородкой.

Купец вынул изо рта чубук кальяна. Призадумался. Цена, заломленная этим ляхом, была несусветной. Десять тысяч червонцев — целое состояние. Впрочем, пленница, которую он предлагал, стоила и втрое больше. Особенно если продать её очаковскому бейлербею. Хотя нет, слишком рискованно. Сподручнее выставить её на базаре в Стамбуле, пусть дорога туда неблизкая и опасная. А может, всё же в Очакове? Нет! С тех пор как буджакская орда хлынула на Подолье, цены на молодых невольниц рухнули. Не такая выгодная сделка, как в Стамбуле.

— Восемь тысяч, — прорычал он, — и ни талера сверх, гяур! Не то велю шкуру с тебя плетьми спустить!

Дыдыньский растянул губы в ухмылке. Угрозы всегда были неизменной частью торга с Селаметом.

— Придержи язык, купец. Сыщется ли на Подолье храбрец, что посмеет поднять на меня руку?! А коли сам дерзнёшь — будешь собирать свои пальцы по этому ковру.

Турок гневно засопел. Втянул ароматный дым.

— Согласен! Но деньги выплачу через два дня. Нет у меня сейчас такой суммы.

— Заплатишь здесь и сейчас. Деньги у тебя в сундуке.

— Хорошо, хорошо, — Селамет улыбнулся. Они ударили по рукам. Купец хлопнул в ладоши и велел слуге принести ароматного арабского чая с травами. Это означало, что сделка состоялась.

***14. Эпилог***

Через два дня после злосчастных похорон, когда дотла сгорела сидоровская церковь вместе с телом пана каштеляна, в город прибыл известный рыцарь, бывший лисовчик[5] Яцек Дыдыньский герба Наленч. Он привёз с собой и положил на ещё дымящееся пепелище чёрные доспехи того жестокого всадника, что прежде убил сыновей старого каштеляна и утащил в преисподнюю панну каштелянку Еву. Весть о том, что молодой рыцарь одолел чёрта, молнией разнеслась по всему воеводству. В Подгайцах и Сидорове звонили в колокола, а священники служили благодарственные молебны за душу пана Дыдыньского. Ксёндз-настоятель Жабчинский в Подгайцах даже произнёс пространную благодарственную речь, в которой величал пана Яцека защитником христианства, хранителем отеческой веры и истинным сыном католической Польской Короны, а также рыцарем, преисполненным всяческих добродетелей. Правда, злые языки после поговаривали, что прежде на этом рыцаре тяготели изгнание и бесчестье, и что пан Дыдыньский, будучи лисовчиком, грабил монастыри и облагал данью церковные владения. Впрочем, известно: стоит явиться праведному мужу, как еретические, скверные языки тут же принимаются его чернить.

Вскоре о подвигах Дыдыньского стали ходить легенды: будто он схватил чёрта за рога и выбросил из церкви, а годы спустя защитил от дьявола каштелянку, посвятившую своё девство Пресвятой Деве Марии. Больше всех рассказывал о нём его милость пан Артур Махловский из Забежова, который якобы своими глазами видел, как дьявол в облике рейтара-еретика ворвался в сидоровскую церковь. Однако иные паны-братья эти россказни опровергали, утверждая, что пан Махловский, известный пьяница и смутьян, все эти события благополучно проспал в корчме и знает о них лишь с чужих слов.

А что же сам пан Дыдыньский? Как истинный непорочный польский шляхтич, защитник святой католической веры и рыцарь с пограничных форпостов, он, ссылаясь на записи в книгах, по которым Лигенза назначил его опекуном панны Евы, споро прибрал к рукам обширные владения каштеляна. В этом ему споспешествовал его доверенный клиент, шляхтич Верушовский. Пан Яцек после вёл нескончаемые тяжбы и войны с родственниками и наследниками Лигензов, совершал набеги на сёла и фольварки, захватывал имения соседей, а судебным приставам, являвшимся к нему с повестками, велел эти бумаги съедать. Будучи, однако, истинно милосердным католиком, дозволял им передохнуть между первым ордером и вторым, хотя и недолго.

В конце концов, пан Дыдыньский, точно лев, прочно обосновался в замках и староствах могущественного рода Лигензов и восседал в них, пока смерть не затянула его глаза бельмом.

[1] Исторический термин, обозначающий круглый щит, который использовался в военном деле Польши, Турции и других стран Восточной Европы в средние века и раннее новое время. Это заимствование из турецкого языка (kalkan), где оно также означает «щит».

[2] Буквальный перевод с латыни – «замок скорби».

[3] Речь идёт о портрете на крышке гроба – так называемом портрете трумьенном (от польск. portret trumienny). Это особый вид портретной живописи в Польше XVI-XVIII веков – портрет умершего, который прикреплялся к крышке гроба. Обычно такие портреты писались на металлической (часто жестяной) пластине шестиугольной формы. Поэтому когда чёрный всадник ударил по портрету, он оторвал эту металлическую пластину с портретом от крышки гроба.

[4] Серпентина (serpentyna) - это старинное польское название сабли, особенно распространенное в XVII веке. Название вероятно происходит от латинского слова "serpens" (змея) и может относиться к форме или узору на клинке сабли.

[5] Лисовчики (польск. Lisowczycy) – польская легкая кавалерия начала XVII века, названная по имени их первого командира Александра Юзефа Лисовского. Прославились во время Смутного времени в России и Тридцатилетней войны в Европе как чрезвычайно мобильное войско, способное преодолевать до 150 километров в сутки. Отличительными чертами лисовчиков были легкое вооружение (сабли, короткие пики, луки и пистолеты), отсутствие обозов и характерная форма одежды – шубы, вывернутые мехом наружу. После гибели Лисовского в 1616 году продолжали действовать под командованием других военачальников, сохранив свое название. Участвовали в военных кампаниях на стороне Габсбургов до середины XVII века. Также были известны своей жестокостью и тягой к грабежам, которую им привил еще Лисовский.

# Польские бесы

***1. Последняя воля гетмана***

В костёле Отцов Бернардинцев всё ещё чувствовался запах польской крови. На каменном полу, изрубленных скамьях, алтаре и ликах святых до сих пор виднелись тёмные пятна. Память о событиях трёхлетней давности, когда казаки Гири и Кривоноса ворвались в Махновку резать ляхов и евреев.

Ян Дыдыньский всё ещё видел перед глазами ту резню священников, монахов, шляхты и мещан. Он перекрестился у дверей и направился к алтарю, залитому потоками солнечного света. Шёл туда, где на возвышении из сёдел, на грудах собольих мехов и обитых тканью досок, лежал старик с горящими от жара глазами, окружённый немногочисленной челядью.

Это был знатный пан. С седой бородой и пышными усами, что расходились над губами двумя толстыми кистями. Он лежал в алом плаще с волчьим воротником, в жупане из золотой парчи, сверкающем алмазными пуговицами и петлицами, прошитыми золотой нитью. Одним своим видом этот человек был достоин сенаторского кресла не меньше, чем король — короны, а Пац — пресловутого дворца.

На смертном одре лежал Николай Потоцкий, каштелян краковский, гетман великий коронный. Победитель Павлюка, Остраницы и Скидана, татарских орд и московских полков, герой Кумеек, Езуполя и Каменца; прославленный воин из-под Смоленска, соратник и любимец покойного Конецпольского, разбитый и побеждённый под Корсунем, за который отплатил казакам сполна под Берестечком.

Это уже была история. Битвы, которые он провёл, могли пригодиться разве что для эпитафии. Потоцкий был при смерти. Его золотая, украшенная изумрудами булава лежала рядом с польской саблей в серебром инкрустированных ножнах. Уже не хватало сил взять её унизанной перстнями рукой. Пан краковский повторял побелевшими губами слова молитвы и сжимал золотой крестик.

— Ясновельможный пан гетман, — поклонился Дыдыньский. — Я прибыл по вашему зову.

— Ян... Пан поручик... — прошептал Потоцкий. Когда он пытался говорить громче, его шёпот переходил в хрип. — Последний верный... Занемог я... Скоро конец.

— Ваша милость переживёт нас всех, — сказал Дыдыньский, но и сам не был в том уверен. Ведь даже последний обозный в коронном войске на Украине хорошо знал, что булава великая уже де-факто не имела хозяина, а великие паны короны грызлись за неё, как сыновья потаскухи за последний дукат из материнского кошеля.

— Молятся о моей смерти. Калиновский, канцлер... Ланцкоронские, князь воевода виленский, — говорил хрипящим голосом гетман. — Все думают, что я под Белой Церковью струсил, подписав пакты с казаками; что нужно было покончить... с Хмельницким. Но я прибыл сюда ради мира, не войны. Pax должен быть на Украине. Такова моя последняя воля.

Потоцкий глубоко вздохнул.

— Умираю я, пан поручик. А умирая, вижу всё, что совершил. Не хочу каяться за пролитую кровь, колы и виселицы. Уйду, оставив после себя вечный мир. Пусть это будет мне утешением, ибо издыхаю... как пёс.

— Ясновельможный пан гетман! Не говорите так!

— Твой отец Яцек, стольникович саноцкий... Тот, кого звали Яцеком из Яцеков... Заездник[1]... У него был конец достойный шляхтича... Под Зборовом. С саблей в руке. Запамятовал, под чьим... началом служил.

— В хоругви саноцкой пана Зигмунта Пшедвоёвского.

— Да, да. Теперь помню, — тяжело дышал Потоцкий, покрываясь холодным потом. — Я к тебе питаю расположение, ибо твоего отца покойного хорошо знал, жизнь мне спас под Кумейками, упокой, Господи, его душу. И потому прошу тебя о помощи.

— Я – ваш покорный слуга, ясновельможный пан гетман.

— Есть такой ротмистр панцирной хоругви, Ян Барановский... стольник брацлавский. Его люди учинили... бунт.

— Барановский?! Из людей Вишневецкого?

— Сущий дьявол во плоти, пан-брат. В его роте служат воины князя Иеремии, те самые, что были под Збаражем, Константиновом, Берестечком. Это тебе не голытьба какая-нибудь, не захудалая поветовая хоругвь, что, прости Господи, татарскую башку от собственной задницы не отличит. Это паны-братья из-за Днепра, с саблей и в седле рождённые...

— По словам вашей милости сужу, что опасны они.

— Опасны? Бара...новский и слышать не хочет о мире с казаками, — прохрипел Потоцкий. — Жжёт и убивает, режет хлопов и чернь. За свои обиды мстит. А Хмельницкий уже яростью кипит, шлёт мне грамоты из Чигирина, воздаяния требует. Его милость пан ротмистр порушит всё, что я создал... Договор под Белой Церковью. Вот-вот даст повод к новой войне с казачеством.

— Ясновельможный пан гетман, повелите ли ударить по нему?

— Нужен пример, не то грозит нам конфедерация. Войско не видело жалованья... испокон веков... Бери мою хоругвь, пан Дыдыньский, найди Барановского, схвати и приведи живым на гетманский суд. Иначе горе нам! Я в долгу не останусь, пан-брат. Дам тебе официальный документ на... собственную роту. Иисусе Христе!

Потоцкий схватился за жупан у горла, не в силах продохнуть, рванул ворот, разрывая ткань на груди. Алмазные пуговицы брызнули в стороны, а челядь кинулась на помощь своему пану, подхватили его, принялись растирать виски водкой.

— Господи, скоро предстану перед тобой, — простонал гетман. — Много грехов на душе моей, ибо, Боже прости, лют был я с казаками. Под Боровицей клятву преступил, Павлюка палачам выдал. А когда запорожцы в сенат запросились... Дал я им сенат, Христе, помилуй; вместо лавок на колья их сажал... И о том скорблю несказанно. Хочу, чтобы после смерти моей был здесь мир. Вот завет гетмана Короны Польской. А его исполнителем тебя, пан-брат, нарекаю.

Потоцкий зарыдал. Слёзы, крупные как горошины, катились по его мертвенно-бледному лицу.

— Кровь, сколько этой крови... Не хочу иметь на совести новую войну... — выдохнул он. — Пан Дыдыньский! Ды... Сокруши Барановского, пока... не довёл... до... новой сечи.

— Даю шляхетское слово. Доставлю Барановского живым в лагерь, хоть бы пришлось, как чёрта за рога, из самого пекла его выволочь. А что прикажете с его хоругвью?

— Без нужды крови не проливай. Это наши жолнеры, добрые товарищи. Но коли саблю поднимут... Даю тебе гетманское соизволение.

Потоцкий умолк. Плакал, молился и тяжко вздыхал.

— Всё будет исполнено, вельможный пане.

— Дыдыньский, — прошептал гетман, — ты не с Украины родом. Не ведаешь, что тут творилось... Лишь об одном молю — не дай воли мести... Месть, сын мой... низвергнет нас в адово пекло, ибо за каждую обиду станем убивать друг друга без конца... с казаками.

Поручик согнулся в поклоне. И тогда пан Николай Потоцкий, гетман великий коронный, возложил дрожащую руку на его бритую голову и начертал на челе крестное знамение.

— Иди с Богом, мой... сын.

***2. Крестьянам отблагодарить...***

Берестечко...

Кровавая сеча запорожских полков. Разгром татар, сметённых огнём иноземной пехоты... Жестокая расправа над одичавшей чернью, что держала оборону в таборе после бегства Хмельницкого. А после — бунт посполитого рушения[2], долгий поход осиротевшего коронного войска через Украину, кончина Иеремии Вишневецкого, а там и встреча с казаками под Белой Церковью.

Хмельницкий был горьким пьяницей и тираном, да только не глупцом. Всякий раз, как нависали польские сабли над его головой, пробуждался в нём из хмельного угара муж государственный да воевода мудрый. И тогда вешал он казаков, что твой царь-батюшка, пил аки природный лях, считал дукаты как истинный жид, а речи толкал, что сенатор первейший, проливающий слёзы над горькой долей Речи Посполитой. Прижатый под Белой Церковью гетманами да Янушем Радзивиллом, так истово бил себя в грудь, столь долго мёл шапкой пол белоцерковского замку от мышиного да птичьего помёта, что выпросил-таки мир. Договор, что должен был на веки вечные усмирить чернь да казачество.

Не усмирил!

Залёг Хмельницкий в Чигирине что матёрый волк в логове, обложенный гончими псами, да только Украина покоя не возжелала. На Заднепровье, Брацлавщине да Подолье чернь с молодцами держали Хмеля там, где хребтина честное имя теряет, и при всяком случае являли коронному войску срамное неуважение своё. Из казаков, что вне реестра остались, из татар, в Крым не воротившихся, из беглой челяди коронных хоругвей, черни да хлопов, что под старостинскую руку возвращаться не пожелали, сбились ватаги лихие да шайки разбойные, что кидались на шляхетские усадьбы, города, а то и на ляшские хоругви. Подняли бунт против Хмельницкого атаманы казацкие помельче, душегубы, разбойники, своевольники да голытьба отпетая — Александренко с Чугаем под Баром; Бугай, что с ватагой черни жёг да грабил усадьбы на Заднепровье. А промеж казаков вздымали главы один за другим — ровно у гидры стоглавой — Вдовиченко, Полторакожуха, да и сам Богун, что кричал о гетманской измене Запорожью. С иными из них учинил Хмельницкий обычный запорожский разговор, то бишь милостью Божьей под корень извёл, токмо часть душегубов всё ж разбежалась по всей Украине, укрывшись по оврагам, степям, борам да городам бунтующим.

Коронные жолнеры воротились на Днепр по прошествии трёх лет, чтобы вместо усадеб, замков да костёлов узреть руины да пепелища, трупы убиенных, поля запустелые, закрома да амбары разорённые, города пограбленные да толпы черни одичалой. И тут возгорелся гнев шляхетский — за усадьбы порушенные, за девиц поруганных, за деток шляхетских, что украинскими косами порублены да в полон татарский проданы были, за все насилия да бесчинства. Жолнеры изводили ватаги черни огнём да мечом, пускали дым над хуторами да местечками, вздымали душегубов на колья, вешали на крестах придорожных, рубили руки, разоряли церкви да монастыри, били да грабили будто в чужой земле, а не в мятежной провинции Речи Посполитой. Украина помирала от голода, разорённая войной, пожарищами, дождями да походами воинскими. За краюху хлеба просили четыре золотых, а за кварту простой горилки — коли сыскать её возможно было — и все восемь золотых выкладывали.

Через эти одичавшие земли шёл Дыдыньский из Махновки к Бару, ведя конным строем панцирную хоругвь. Первые следы Барановского они нашли только вечером следующего дня после выхода из лагеря под Махновкой. Это было в степи, за Прилукой, возле одного из многочисленных оврагов речки Ольшанки, а может, Кобыльни.

Первыми внимание отряда привлекли птицы. Огромная стая ворон, воронов и галок кружила над крутым оврагом. Они снижались, пропадали за верхушками деревьев, а потом вновь взмывали ввысь, не обращая никакого внимания на присутствие вооружённых людей. Тогда ещё никто не знал, что это значит. Только когда Дыдыньский и его панцирные спустились в просторный овраг, кони захрапели от страха, а у всадников волосы встали дыбом.

Ян был на войне два года. И всё же увиденное заставило его снять с головы шляхетский колпак с украшенным алмазом трясенем[3] и перекреститься. Ехавший рядом наместник Бидзиньский, коренной мазур из-под Сохачева, на которого кровавые и жестокие казни производили такое же впечатление, как забой свиней на зимнем фольварке[4], начал шептать молитвы.

Узкая дорога, петлявшая по дну оврага, была уставлена свежеотёсанными, окровавленными кольями. На их остриях неподвижно торчали, а порой извивались, корчились от боли, бились в судорогах тела украинских резунов[5]. Были здесь крестьяне, юноши, старики, женщины и молодицы в свитках из серого сукна, сермягах и тулупах, бекешах и платках, а иные и вовсе раздетые донага. В овраге виднелись следы битвы – то тут, то там валялись трупы лошадей, брошенное крестьянское оружие – косы на длинных древках, дубины, копья, топоры.

— Барановский, — прохрипел Бидзиньский. — Это его рук дело.

— Барановский... — эхом прокатилось среди товарищей и челяди.

Лес кровавых кольев не был самой страшной частью этого зрелища. Ротмистр пощадил детей. Маленькие, грязные, в изодранных свитках, в окровавленных рубахах, они жались к грязным кольям. Одни рыдали, хватали за ноги своих родителей, тщетно звали их, кричали от боли, катались в грязи и крови, молились, а иные бессильно трясли колья, надеясь освободить близких. Напрасно. Их матери и отцы были мертвы или умирали на кольях, кричали, звали детей или рыдали, видя, как их сыновья и дочери протягивают к ним руки, как падают на колени в великом отчаянии.

— Иисус Мария, — перекрестился пан Анджей Полицкий, старый, седой изгнанник с лицом, изрезанным шрамами от ссор и поединков. Это был человек, приговорённый к изгнанию за убийство двух шляхтичей и поджог усадьбы, а ныне искавший защиты от закона под покровительством гетмана Потоцкого. — Да это же сущий ад!

Когда хоругвь вошла в проход между рядами посаженных на кол крестьян, дети бросились к дороге. Польские паны восседали на статных, резвых конях, в алых делиях, кольчугах и бехтерах, в мисюрках, усыпанных бирюзой и жемчугом. Развалившись в сёдлах и луках, отделанных перьями и кистями, они медленно пробирались сквозь серую толпу окровавленных детей.

Ни один из детей не молил их о пощаде для родителей. Ни один не упал им в ноги.

— Будьте прокляты, ляхи!

— Чтоб вас мор унёс!!!

— На погибель! На смерть!

— Прочь, вражье племя! — кричали дети.

Панцирные молча сносили крики и проклятия. Никто не потянулся за нагайкой, ни один товарищ не коснулся сабли, ни один челядинец не схватился за бандолет.

— Вот она, справедливость по-барановски, — сказал Дыдыньский, когда они выехали за кровавый частокол из насаженных на колья крестьян. — Нужно схватить его как можно скорее, иначе он утопит всё Подолье в крови!

— Неправое дело творит, — проворчал Бидзиньский. — Резуны рады бы нашу кровь пить, но карать надобно по справедливости. И без промедления...

— А как ваша милость думает, что бы эти резуны с нами сделали, попади мы к ним живьём? — вмешался Полицкий. — Явили бы милосердие? Разве что вместо кольев перерезали бы нам глотки шилами.

Бидзиньский промолчал.

— Зря Барановский щенков в живых оставил, — продолжал Полицкий, видно, позабыв уже, как сам побледнел при виде окровавленных кольев. — Они не забудут. В душегубов вырастут. И до шляхетских глоток доберутся.

— Что ж, исправь ошибки пана стольника, — усмехнулся Дыдыньский. — Давай, милостивый пан-брат, берись за саблю, воротись к детям и прикончи их; покажи, какой ты доблестный рыцарь и защитник веры. А может, тебе мушкет одолжить?

Полицкий побледнел, дёрнулся в седле, но за саблю не взялся — знал Дыдыньского не первый день, знал, что поручик не терпел прекословий.

Они миновали излучину ручья, поднялись выше, между догорающими хатами деревни. Потом выехали на холм. Здесь ещё дымились деревянные балки, а ветер разносил горячий пепел от сожжённого строения, куда более просторного, чем самая богатая хата в деревне. То были остатки усадьбы, спалённой, верно, крестьянами. Под дубом у большой дороги чернели шесть свежих могил. Кто-то вырезал на дереве символ страстей господних, под ним проступал неясный знак: подкова и крест. Шляхетский герб Побог. И ещё дата: *DOMAD 1651*

— Крестьяне усадьбу спалили, — простонал побледневший Бидзиньский.

— То было наказание, не месть, — проворчал Полицкий. — Барановский покарал чернь за убийство шляхты.

— Говорили в лагере, — прошептал Бидзиньский и, как суеверный мазур, широко перекрестился, — что стольник за свои обиды кровь проливает. Его детям резуны косами головы поотрезали, жену насиловали, пока та рассудка не лишилась...

— Молчи, ваша милость! — оборвал его Дыдыньский. И выдвинулся вперёд.

***3. Бунтовщик, не ротмистр!***

Барановский орошал землю Подолья кровью, метался по мятежному краю от Винницы до Ямполя, от Могилёва до Бара, истребляя своевольные толпы черни, громя казацкие ватаги. Где бы ни вспыхнул мятеж, он тотчас обрушивался на головы черни и запорожцев — неумолимый, как сама смерть, безжалостнее князя Яремы, свирепее голодного ногайского татарина в конце зимы.

День за днём Дыдыньский и его люди видели всё новые картины лютой расправы над крестьянами и казаками. Сперва была церковь в Багриновичах, где мужики порешили много шляхты. После того как прошёл Барановский, сопротивление в округе угасло, а в Божьем храме раскачивались в петлях душегубы и заводилы бунта: Степанко, Гоголь и Покиянец — первый спалил тридцать шляхетских усадеб, второй надругался над пятнадцатью девицами, а третий был главным смутьяном. Их своеволию пришёл конец — висели они в церкви с выпученными глазами да почерневшими языками. Для полноты картины Барановский вздёрнул рядом их семьи и детей, а заодно и местного попа, что освящал косы да кистени на войну с ляхами.

Потом была Дубина, где в чистом поле разбили большую ватагу казаков, а разъярённые вишневетчики приколотили полсотни пленных трофейными пиками к обозным телегам. После — спалённая деревня под Тульчином, где деревья клонились под тяжестью повешенных крестьянских детей. Меж товарищами шептались, что Барановский учинил это в память о своём старом друге — князе Четвертинском, которому в начале хмельницкого бунта его же мельник отпилил голову, а прежде на глазах у князя надругались над его женой и дочерьми. Потом увидели Творильное, а в нём — церковь, где укрылись жители от мести ляхов, взятую приступом вишневетчиками. Люди пана стольника учинили за сопротивление страшную расправу: рубили мужиков, женщин, рассекали саблями младенцев на руках у матерей... Там среди окровавленных тел лежал перед Царскими Вратами седой как лунь старец, изрубленный в куски, сжимающий в окровавленных руках елеусу — образ Пречистой с Младенцем.

Барановский был неуловим. Выслеживали его четыре дня, пять, неделю — и не увидели ни единого дозорного, ни единого всадника из его хоругви. Вишневетчик скользил тенью по подольским степям, таился в балках и курганах, чтобы внезапно ударить там, где его вовсе не ждали, а ударив — исчезал на целые дни. И всё же они были всё ближе. Пепелища сожжённых хуторов и слобод ещё дышали жаром, а кровь не успевала застыть на мёртвых телах.

На восьмой день погони вернулся на взмыленных конях дозор, высланный Дыдыньским в степь.

— Барановский! — крикнул пан Бильский, посланный в разъезд с десятком конных. — В полумиле отсюда, в старой усадьбе Чугая осаду держит!

Дыдыньский вскочил на ноги.

— Наконец-то! — процедил сквозь зубы. — По коням!

Товарищи и конные кинулись к лошадям.

— Коли правда, попался он как карась в вершу, — усмехнулся поручик. — Когда обложим, не вывернется, имея казаков за спиной.

Бидзиньский подкрутил свои светлые мазовецкие усы.

— Не ведаю я, гоже ли так, пан поручик... Всё ж Барановский — шляхтич. Свой, знамо дело. Осадил запорожцев, наших врагов, а ваша милость хочет напасть на него, что басурманский разбойник.

Дыдыньский впился в старого вояку пронзительным взглядом.

— Барановский — мятежник, палач Подолья, преступивший белоцерковские договоры.

— А казаки их не преступают? Не режут шляхту?

Солдаты ловили каждое слово. Все взоры были устремлены на Дыдыньского.

— Кому мы служим?! — бросил сбоку Полицкий. — Гетману или душегубам? Толкуют, что пьяница Потоцкий хочет выдать Барановского Хмельницкому. Коли правда, стало быть, мы пану краковскому за живодёров служим, за старостинских прихвостней, а не за рыцарей.

— Прихвостням в староствах, — проворчал Бидзиньский с красноречием, диковинным для мазура (про которых сказывали, что после рождения они слепы до девятого дня), — жалованье по четвертям платят. А что нам Речь Посполитая за Берестечко отсыпала?

— Молчать! — рявкнул Дыдыньский. — Николай Потоцкий хочет мира на Украине. А Барановский этому помеха. Впрочем, не стану я с вами словами меряться — приказы высечены как на камне. А коли не разумеете, так я вам их сейчас сабелькой на головах pro memoria начертаю. По коням!

***4. Пан Барановский***

Будто вихрь налетели они на подворье. Хоругвь разделилась надвое и, словно морская волна, обтекла старую, обветшалую усадьбу. Панцирные осадили коней, застыли с обнажёнными саблями да бандолетами на истоптанном копытами дворе.

Никто не вышел им навстречу. Ни единой живой души не было здесь. Под усадьбой валялись тела побитых запорожцев, которые — что и говорить — унесли с собой в могилу вести о том, что здесь приключилось. По двору раскиданы были разрубленные сундуки, лари да бочки, валялась разбитая опрокинутая телега, чернели конские трупы.

Двери настежь стояли. Дыдыньский кивнул наместнику и конным.

— К дверям!

С обнажёнными саблями, ручницами да пистолетами вошли они в сени. Усадьбу давным-давно разграбили, и стены глядели пустыми глазницами. Портреты хозяев, видать, пошли на растопку под казацкие котлы с саламатой, дорогие адамашковые полотнища да шёлковые фризы со стен — на жупаны да свитки для черни. А кожи — на казацкие сапоги, ежели можно так величать грубые постолы, сшитые толстой дратвой.

Двери в светлицу с грохотом распахнулись, когда поручик, Бидзиньский и шестеро конных ворвались внутрь.

— Рад гостям, пан Дыдыньский!

В горнице царил полумрак, разгоняемый лучиной да плошками, что горели на столе, заставленном жбанами, анталками да шафликами с горилкой. С лавки поднялся пан Барановский; шёл к ним навстречу с турьим рогом в руке. Был один-одинёшенек. Без челяди. Без товарищей. Без единого человека из своей волчьей стаи.

Засада чуялась за версту. Дыдыньский уже смекнул, что угодили они в дьявольскую западню. Не оставалось ничего иного, как строить из себя бывалого — точно картёжник, которому вместо тузов достались паршивые короли, а он морочит всех, будто прячет в рукаве козырного туза.

Вблизи пан стольник брацлавский вовсе не походил на дьявола, о коем чернь слагала думы да песни. Однако Дыдыньский знал, что черти, сходящие на землю, частенько рядятся в шляхетское платье. Ротмистр был малость пониже его. Алый жупан с завязками носил с той особой повадкой, что пристала как вельможному пану, так и матёрому офицеру польской хоругви. На плечи накинул длинную делию с прорезью для сабли, опушённую соболями, схваченную под горлом золотой запоной с бирюзой. На голове — волчья шапка с разрезным меховым околышем да пышным султаном, у основания коего сверкал алмаз с куриное яйцо величиной.

Так было когда-то, в стародавние годы золотого мира на Украине...

Ныне жупан Барановского хранил лишь тень былого великолепия. Выцветший, изодранный, в бурых пятнах запёкшейся крови, весь иссечённый, с дырою на левом боку. Делия ротмистра зияла прорехами, что бекеша последнего голодранца из подлясского захолустья, передаваемая из рода в род со времён короля Стефана. Соболий воротник — в клочья изодран, оружие — истёрлось и обветшало, в запоне половины каменьев недостаёт. По одежде стольника читались долгие годы войны, ночёвок в степи, сечи, сражений, набегов да стычек с казаками. Выцвела она так же сильно, как его прищуренные очи, в коих нельзя было прочесть ровным счётом ничего — ни лютости, ни тем паче жалости.

— Добро, что прибыли, — молвил Барановский, не глядя на нацеленные в него бандолеты. — Нужны мне люди для расправы с Александренко. Казак тот Хмеля не слушает, усадьбы грабит да шляхту режет. Надобно башку ему свернуть.

— Мы здесь по гетманскому приказу, — глухо произнёс Дыдыньский. — Извольте вернуться с нами в лагерь, где вас ждёт суд за неповиновение. Сложите саблю, пан-брат, и пойдёмте по-хорошему. Иначе за жизнь вашу не ручаюсь.

— Суд? За что? Я же всей душой Речи Посполитой служу.

— Служба ваша, сударь, одно лишь своеволие. Война кончена, пан Барановский, белоцерковские соглашения подписаны, а вы всё на казаков нападаете, колья им тешете да виселицы ставите. Этому должен быть конец!

— Я всего лишь шляхту от резунов защищаю, от черни, что нам всем глотки перерезать норовит. Кому, как не мне, этим заниматься? Его милости пану Потоцкому, который булавы в руке не удержит? Или великому гетману, которого холопы до нужника на руках таскают?

— Я не затем сюда явился, чтобы диспуты с вами вести. Уж простите, пан ротмистр, но приказано мне вас схватить. Не позволю вам этот многострадальный край в преисподнюю обратить, где мы все заодно с казаками жариться станем.

— Пусть лучше на Украине бурьян да крапива растут, чем голытьба на погибель Его Королевского Величества и Речи Посполитой плодиться будет, — процедил Барановский с жестокой усмешкой. — Полегче на поворотах, пан Дыдыньский, вы всё ж не батюшка ваш, чтобы на меня голос повышать. Да и честь надобно отдать хозяевам дома сего, за чьи души я чарку поднимал. За панов Топоровских, коих чернь оглоблями да топорами порешила, живьём потроха выпускала да шеи ими обматывала, а как весь род извела, три дня пировала да веселилась, что ляхов извели. Детишек их на деревах развесили да в стрельбе из луков тренировались...

— Довольно! — оборвал Дыдыньский. — Саблю на стол, сударь!

— Печалите вы меня, пан Дыдыньский, — медленно проговорил Барановский. — Да только что с вас взять — не из Руси вы родом, не из Брацлавского воеводства, не из Заднепровья, не с Волыни, а из курной хаты[6] под Саноком. А я-то всё мнил, что после Люблинской унии шляхта из Малопольши, Куяв и Мазовии с охотой за честь панов-братьев с Украины постоит. Ведь кто за холопа не вступится, тот и за жену не заступится. А мы, русины, видать, для вас и холопов хуже, коли за порубленных детушек наших, за поруганных жён, за спалённые усадьбы сабель из ножен не достаёте. Явила уже коронная шляхта под Пилявцами, как легко талеры шутам да скоморохам швыряет, да так же проворно зайцем в кусты даёт.

— Мир настал, пан-брат. Пора былое забыть.

— Мир настанет, когда Хмельницкого на кол вздёрнем, а чернь к плугу да в фольварки воротится. А коли по доброй воле не пойдут, так мы их плетьми туда загоним.

— Пан Бидзиньский, извольте у их милости оружие отобрать!

— Хотел я с вами миром, пан Дыдыньский, — с укором промолвил ротмистр Барановский. — Не сложилось. Жаль.

Он шагнул к окну.

— Стоять! — вскричал поручик.

Опоздал!

Молниеносным движением Барановский задул свечу на подоконнике.

На дворе грянул выстрел. Пуля впилась в одну из бочек под конскими копытами...

Вспышка ослепила стоявших поблизости панцирных. Бочка разорвалась с оглушительным грохотом, разлетелась вдребезги, осыпав осколками ближних товарищей, сбивая взрывной волной коней, сметая с сёдел всадников. Кони с душераздирающим ржанием осели на задние ноги.

— Ни с места, ваши милости! — прогремел зычный голос. — Замрите, коли жить хотите!

И не успел никто молитву прочесть, как обветшалый частокол ощетинился вооружёнными людьми. Конные, будто из-под земли выросшие, влетели в ворота, стрелки с ружьями объявились на крышах дворовых построек и конюшен. Пешие целили в людей Дыдыньского из самопалов, конные застыли с саблями да рогатинами наизготовку.

— Ни шагу, ваши милости! — повторил тот же голос. Принадлежал он рослому шляхтичу с седыми усами, облачённому в драную, всю в зарубках кольчугу. — Вы окружены, а двор порохом уставлен. Два выстрела — и всей хоругвью к небесам отправитесь!

Кто-то из товарищей подскочил к ближайшей груде бочек, пихнул бочонок, выбил дно и застыл в ужасе. Изнутри посыпался чёрный порошок.

— Иисусе-Марие! Порох!

Хватило одного выстрела, чтобы разбросанные по двору бочки взорвались, разрывая панцирных в клочья. Люди Дыдыньского дрогнули, смешались и отхлынули к стенам усадьбы.

Дыдыньский с Бидзиньским кинулись к Барановскому. Да только поздно. С оглушительным треском лопнули половицы, грохнули подброшенные вверх доски настила. Из-под них повыскакивали люди в рваных делиях, жупанах да рейтарских кафтанах, при саблях, чеканах и ружьях. Вихрем налетели они на перепуганную челядь, посбивали наземь, смяли и к стене остриями сабель припёрли.

Но Дыдыньский всё ж поспел первым.

Встал за спиной ротмистра, левую руку на плечо ему положил. В правой держал пистоль заряженный. Длинный, гладкий, до зеркального блеска начищенный ствол упёрся в бритый затылок пана стольника чуть повыше правого уха.

— Замри, пан Барановский, — прошипел Дыдыньский, — не то будешь чертовок в пекле тешить.

— Взять его! — выдохнул Барановский. — Чего мешка...

Дыдыньский со звонким щелчком курок взвёл. Люди из хоругви ротмистра так и застыли на полушаге.

— Видать, твои не слышат тебя. Кричи погромче!

— Мудрой голове довольно двух слов. Глянь-ка, ваша милость, во двор.

Дыдыньский зыркнул в окно. Его хоругвь, что сбилась вокруг усадьбы, угодила в западню. На частоколе стрелки засели, ворота конница пана стольника наглухо перекрыла. Выхода отсюда не было — разве что на погост али прямиком на небеса.

— Ступай, ваша милость, к дверям, — скомандовал Дыдыньский. — Шевельнёшься — стреляю.

— Стреляй. Половина ваших костьми тут ляжет.

Повисла гробовая тишина.

— Поймал казак татарина, а татарин за чуб держит, — хмыкнул Барановский. — Что дальше-то?

— Попридержи язык, ваша милость. Думаю.

— Давай порешим дело по-рыцарски, — проворчал стольник. — На кой шляхетскую кровь лить? Выйдем на саблях. Положишь меня — сам с тобой в лагерь поеду. Я тебя одолею — отступишь и дашь мне уйти подобру-поздорову. По рукам?

Дыдыньский помедлил с ответом, прикидывая что-то.

— Коли поклянёшься честным словом.

— На святой крест. — Барановский сложил персты и широко перекрестился. — Милостивые паны! Даю слово шляхетское: коли пан Дыдыньский одолеет меня в поединке честном, то сам, волей своей, вернусь с ним в коронный лагерь.

— А коли пан стольник изволит меня посечь, — молвил Ян, — клянусь животом своим, что дам пану Барановскому со всеми людьми его от усадьбы отойти. Да поможет мне Господь.

— Оружие долой! — зычно крикнул Барановский своим. — Место чистое дайте!

Солдаты обеих хоругвей с облегчением вздохнули; опустились пистоли, чеканы да палаши, заржали кони, коим мундштуки ослабили, тут и там прокатились одобрительные возгласы.

— Прошу. — Барановский скинул с плеч делию и широким шагом двинулся в сени.

Вышли во двор. Уже смеркалось, оттого зажгли фонари да смоляные плошки. Товарищи и почтовые[7] из обеих хоругвей перемешались меж собой, потянулись к крыльцу, где плотным кругом обступили своих командиров. Дыдыньский обнажил клинок, ножны с пояса отстегнул, передал слуге.

— Начинайте, ваша милость.

Барановский рубанул коротко, в грудь, от кисти. Его гусарская сабля с разомкнутой дужкой да широким палюхом тонко звякнула, встретив защиту вороненой сабли Дыдыньского. Поручик отозвался ответным ударом, отскочил назад, и когда Барановский от локтя в грудь рубанул, рискнул встречным выпадом, метя в голову противника молниеносным ударом от запястья.

В последний миг ротмистр припал к земле, уклонился от удара, метнувшись влево, и тут же что было мочи рубанул Дыдыньского наискось, снизу вверх.

Ох и хорош был, чёрт! Поручик едва руку с клинком отдёрнуть успел. Сталь о дужку зазвенела, и Дыдыньский вдруг понял: будь у него карабела или венгерка — враз бы все пальцы потерял.

Сошлись снова посреди двора. Люди из их хоругвей теснились вокруг, кричали, кусали губы и теребили усы при неудачном ударе иль запоздалой защите. Дыдыньский вдруг почуял, что все глаза устремлены на его противника, что здесь, во дворе перед разорённой усадьбой, нет ни единой души ему дружественной; что даже его подчинённые душой за брацлавского стольника.

А после сполна ощутил силищу Барановского. Ротмистр бил его без передыху, наносил удары то от локтя, то от плеча, вместо защит бил встречь, а после каждого рубящего удара Дыдыньский мог ждать ответного выпада. Уже через несколько мгновений поручик взмок, чуял, как пот из-под колпака струится, а рука немеет от ударов противника. А ведь он был сыном первейшего рубаки во всей Червонной Руси!

Барановский бил скоро и страшно. Наносил удары, словно не ведая усталости. Дыдыньский попробовал дугой рубануть, затем из кварты, а под конец, отчаявшись, задыхаясь, ударил в грудь слева, будто бы нехотя, но уже в движении левую руку к правой приладил, чтобы выбить оружие из руки противника мощным ударом.

Барановский даже не шелохнулся. Просто отбил удар столь молниеносно, что Дыдыньский закачался, а его сабля рассекла пустой воздух. Барановский полоснул его по боку; Ян почуял холодную сталь меж рёбер, застонал от боли, споткнулся и рухнул на правое колено. Хотел вскочить, но тут же ощутил на своей шее остриё гусарской сабли противника.

— Колоть прикажешь? — спросил Барановский. — Али отпустишь с миром?

Дыдыньский застонал. Крепко ему досталось. Кровь текла из рассечённого бока, в глазах темнело. Кивнул и упёрся руками в землю, чтобы не рухнуть в изрытый копытами песок.

Барановский отвёл саблю. Повернулся и пошёл к своим, будто и не бился вовсе. Бидзиньский с почтовыми кинулись к своему поручику. Живо подняли с земли, подхватили под руки. Ян едва в себя пришёл.

— До следующего раза! — выдохнул он.

***5. Польские дороги***

— Что теперь, пан-брат? В лагерь воротаемся?

— В Варшаву. К девкам у Краковских ворот! — Дыдыньский приподнялся в седле. После удара Барановского его трясла лихоманка, он едва держался на коне. — Ты никак, ваша милость, умом тронулся? Аль оглох вовсе?! Завтра за Барановским идём!

— Это вы, сдаётся, рехнулись, ваша милость.

— Даю ему день. Один день всего, от вечера до сумерек. А после двинемся по следу его.

— Вы ж ранены, пан поручик.

— Пустое это.

— Барановский вас тремя ударами уложил, — проворчал Полицкий. — Ставлю свою саблю супротив драных постолов, что вы и трёх молитв в седле не высидите. В постели вам лежать, а не хоругвь водить.

Дыдыньский вскочил на ноги. В голове помутилось, но он схватился за саблю, выдернул из-за пояса булаву и... вынужден был опереться на Бидзиньского.

— Что ж это, бунт, пан товарищ?!

Полицкий сплюнул. И взор отвёл.

— На рассвете трубить побудку. А там — по коням!

***6. Предательство***

Его разбудили среди ночи, придушили, прижали к постели, набросили на голову попону, пропахшую конским потом. Без труда вырвали из рук саблю. Дыдыньский почувствовал, как выкручивают ему руки за спиной, как связывают их конопляной верёвкой. Он застонал от боли — отозвалась рана на боку. Тогда его поставили на ноги, грубо поволокли, а потом неожиданно сорвали с головы покрывало.

Они были на большой поляне, освещённой бледным лунным светом. Дыдыньский заморгал. Здесь собрались все товарищи из его хоругви. Они сидели на конях, выстроившись в круг. В полумраке он различал бледное лицо Полицкого с чёрными усами, простое, открытое лицо Бидзиньского, выбритые, отмеченные шрамами, следами от пороха, обветренные лица остальных панов-братьев. Челядь и почтовые толпились сзади, выглядывая из-за спин товарищей.

— Что это значит, ваши милости?! — грозно спросил Дыдыньский. — Кто созвал круг хоругви без приказа?

Полицкий подъехал к поручику так близко, что Ян почувствовал на лице горячее дыхание его коня.

— Панам-товарищам уже довольно приказов вашей милости.

— Если не хотят слушать меня, так послушают палача. Я не потерплю неподчинения, а бунтовщики закончат на виселице! Развяжите меня! Если сделаете это сейчас, забуду обо всём, когда вернёмся в лагерь!

Полицкий посмотрел ему прямо в глаза. И тогда Дыдыньский почувствовал холод. Только теперь он осознал, что здесь один, окружённый людьми, которых считал своими товарищами, и которые предали его так же легко, как пьяные запорожцы — неумелого атамана.

— Подумать только, пан Дыдыньский, словно со своими холопами говоришь, — процедил сквозь зубы Полицкий. — Панам-товарищам уже довольно этого похода. Мы не станем покушаться на жизнь достойного солдата, вишневетчика, который защищает шляхту от черни и казаков! Не пойдём на пана ротмистра Барановского!

— Бунтовщик, не ротмистр! Будет висеть!

— Это подольский герой! — крикнул пан Кшеш, солдат и рубака, почитаемый в компании за то, что совершал чудеса храбрости под Збаражем, а более всего за бездонную глотку, благодаря которой мог осушить залпом две кварты вина.

— Один управляется с чернью!

— Шляхетские дворы защищает!

— Молчать! — крикнул Дыдыньский. — Молчать!

— Сам замолчи, гетманский прислужник! — крикнул пан Копыстынский, бывший вишневетчик. — Не нам Барановского судить.

— У пана стольника есть справедливые причины для мести, но даже Христос на кресте простил своих преследователей. Нельзя теперь мстить казакам, потому что тогда и они будут искать мести, и так... возненавидим друг друга навеки, ибо каждый без конца будет мстить за свои обиды.

— Что ты знаешь, пан Дыдыньский?! — крикнул Кшеш. — Был ли ты на Украине, когда чернь шляхту резала? Когда Хмельницкий в гетманском шатре пировал?! Отомстить нам нужно, бунт в крови утопить, мятежников на кол посадить!

— А пан Дыдыньский тогда школяром был в Кракове. В корчме мёды пил да фрейлинам марципаны, словно жемчужины, облизывал! За что тебе поручика дали? За заслуги отца или за то, что как прислужник сабли в зубах за Потоцким таскал?!

Дыдыньский рванулся в путах.

— На сабли, сукин сын! — крикнул он изменнику. — Выходи, ублюдок перемышльский!

Полицкий склонился и схватил его за жупан на груди.

— Придержи язык, пан Дыдыньский! — прошипел он. — И не вызывай меня, ибо воля моя что сабля — перегнёшь, так в лицо со всей силы ударит!

— Милостивые паны! — крикнул Кшеш. — К Барановскому! Поможем достойному товарищу в нужде!

— На погибель мятежникам!

— На кол их!

— Это измена, — простонал Дыдыньский. — Вы присягали на верность Речи Посполитой! Мать нашу убиваете, Корону Польскую, словно кусок сукна, разрываете! Топите наш общий корабль, который...

Речь произвела сокрушительный эффект. Но совсем не тот, на который рассчитывал Дыдыньский. Товарищи сначала вытаращили глаза, а потом захохотали так громко, что даже кони присели на задние ноги.

— Ей-богу, второй Пётр Скарга из тебя! — крикнул Кшеш. — С такой речью только на сейм! Тьфу, что говорю — в королевские покои!

— О, мы окаянные, о, мы предатели, — с притворной скорбью запричитал Полицкий. — Воистину говорю вам, ваши милости, все мы сукины дети, изгнанники и отщепенцы без чести и совести, только во власянице нам и ходить!

— Куда же мы теперь, несчастные, денемся?!

— К Барановскому пойдём! Он нас примет и перед гетманом оправдает!

Дыдыньский умоляюще взглянул на Бидзиньского, но тот уставился в землю.

— Пан Бидзиньский, — сказал поручик, — скажи им правду. Ведь это же союз! Конфедерация во вред Речи Посполитой!

— Речь Посполитая, — Бидзиньский поднял голову, — не платила нам жалованье два года! Где деньги на жалованье? Где обещанная награда за Збараж, за Берестечко?

— Как где! — крикнул Полицкий. — У Потоцких в кошеле!

Дыдыньский почувствовал, что попал в ловушку, в смертельный капкан, откуда нет выхода.

— Милостивые паны! — крикнул он отчаянно. — Милостивые паны, убейте меня или оставьте. Идите в союз, только не соединяйтесь с Барановским. Это дьявол, это...

Договорить он не успел. Полицкий ударил его обухом по голове. Не слишком сильно, не слишком слабо — ровно так, чтобы замолчал и потерял сознание.

***7. Nobile verbum***

— Пан Дыдыньский, присоединяйтесь ко мне.

Поручик презрительно сплюнул. Избитый, раненый, сжигаемый лихорадкой, он чувствовал себя как французский щёголь, которому разом пускают кровь и ставят клистир, а в придачу его мучает приступ паралича, истерии и подагры.

— Вы горды, пан Дыдыньский. Несгибаемы, — проговорил Барановский. — Но смягчитесь. И поймёте, в чём тут дело.

Поручик молчал.

— Я возьму вас с собой. И покажу, как обстоят дела и за что я сражаюсь. Даю вам *nobile verbum*, что не пройдёт и недели, как вы всё поймёте и сами возьмётесь за саблю, чтобы покарать своевольную чернь и казаков. А тогда, — он склонился к уху поручика, — будете мой, пан-брат.

Дыдыньский молчал. Он был болен. Сломлен. Предан.

— Можете ехать со мной на аркане как пёс, пан Дыдыньский. Но если поклянётесь, что не сбежите, не стану вас связывать. Что скажете на это?

Поручик долго молчал. А потом кивнул и произнёс магическую фразу.

— *Nobile verbum.*

***8. Монастырь***

Потом был ад. Барановский шёл на юг, к Буше, Ямполю и Яруге. Там, в пограничных городах Подолья, гнездились бродяги, казаки и отъявленные головорезы, а разбойники прятали добычу в крепостях, не желавших впускать польские гарнизоны. Ротмистр сжигал деревни, хутора, местечки огнём и мечом. Под Русавой разбил в степях крестьянский отряд, а пленных утопил в речушке — не хватало деревьев на виселицы. Жестоко отомстил жителям села Стены, не пустившим весной солдат гетмана Калиновского. Ротмистр со своими людьми, прикинувшись запорожской сотней, напал на ярмарку под городом, вырезал крестьян, мещан и казаков. А когда перепуганные молодцы заперли ворота, окружил стены жуткой оградой из посаженных на кол пленных.

Шли дальше — к Днестру, к Ямполю, разорённому дотла войском пана полковника Ланцкоронского в начале марта этого года. По пути Барановский жёг и рубил, вешал, убивал и насиловал. Иногда посылал под меч целые деревни, а порой довольствовался тем, что отрубал руки крестьянам, заподозренным в сочувствии казакам. Достаточно было найти в деревне одно ружьё или перстень с гербом из шляхетской усадьбы — и через полминуты крестьяне уже плясали на верёвках, хрипели на кольях, а огонь пожирал соломенные крыши хат.

Дыдыньский метался в полубреду от ран, его трясло от озноба и жара, он был на грани смерти от истощения. Но Барановский не давал ему умереть. Велел лить поручику в горло водку, приводил в чувство на привалах. И рассказывал.

Вспоминал панов-братьев, погубленных бунтом. Стольник знал их всех — знал, в какой деревне чернь сожгла усадьбу вместе со шляхетской семьёй, где казаки пилами разрезали пополам матерей с младенцами, в каком повете разорили деревню мазовецких поселенцев. Вспоминал, как убивали шляхту, вспарывали беременным женщинам животы, вынимали детей и жарили на вертелах, а иногда вместо них вкладывали в живот шляхтянок дикого кота. Помнил, как крестьяне обматывали себе шеи дымящимися внутренностями, душили детей, убивали священников. Знал предательские местечки, где прежде укрывалась шляхта, и где мещане, сговорившись с казаками, впустили чернь в город, отдали своих господ на смерть, резню и позор. И не прощал.

Никогда.

Никому.

Вскоре Дыдыньский очерствел душой, свыкся с убийствами, насилием, жестокостью. Его уже не ужасало, как сажают на кол, выкручивают глаза свёрлами, вешают крестьянских детей, сжигают резунов в церквях, устраивают бойню в казацких хуторах и паланках[8]. И наконец, когда на Подолье уже не осталось никого, над кем можно было учинить расправу, Барановский двинулся на восток, вдоль Днестра, по старому тракту на Рашков, минуя древние могилы и курганы, через степи, овраги, скалы и кручи.

На второй день похода на одной из гор на русском берегу Днестра они наткнулись на старый монастырь. Стоял погожий осенний полдень, и багровое солнце клонилось к гряде крутых холмов над берегами реки, когда они остановились в близлежащем лесу. Монастырь был небольшой. Деревянный забор, укреплённый засеками и частоколом, окружал четырёхугольник построек — монастырский дом и выступающие из-за его крыши обомшелые купола церкви, увенчанные тремя православными крестами.

— Чернецы и попы, — процедил Барановский. — Зачинщики бунта, закадычные друзья резунов. Уж верно будут нынче тропари распевать да о пощаде молить.

— Смилуйся над ними, — промолвил Дыдыньский. — Ведь это простые богомольцы.

— Такие же смиренные иноки, как из меня иезуит, — холодно усмехнулся Барановский. — Когда моим детям холопы головы косами снесли, в церковь приволокли, перед царскими вратами выставили, попы те головы кропили да ликовали, что ляшского отродья на Украине не останется.

— Да разве это были они?

Барановский на миг замолчал.

— Я никогда не был лихим господином, — мрачно промолвил он. — Ведомо тебе, ваша милость, отчего моя семья под нож пошла? Оттого, что я мнил, будто подданные никогда супротив нас меч не поднимут. Ведь я им день барщины скостил, церковь у жида из аренды вызволил, подати прощал, хворых от работы увольнял. А в благодарность они явились ко мне с косами да топорами, с попом во главе. «Мы ляхов резать хотим», — вопили. Вот я тебя и спрашиваю, пан Дыдыньский, за что? За что они так поступили? В чём моя вина, что Господь Бог даровал мне шляхетство, землю и привилегии, что я от Иафета происхожу, а они от Хама и к вечной работе предназначены?

— Пощади обитель, — взмолился Дыдыньский. — Господь Бог тебе на небесах сие доброе дело зачтёт. Грехи отпустит.

— Добро! — отрезал Барановский. — Милостивые паны, за мной!

Они подлетели к воротам быстрее стрелы, пущенной из татарского лука. Едва осадили взмыленных коней перед тяжёлой калиткой, как ударил монастырский колокол. Вскоре над частоколом замаячили головы монахов.

— Слава Богу! — раздался чей-то голос. — А что за люди будете?!

— Отворяйте, попы, схизматики, чёртово семя! — взревел пан Полицкий. — Мы воины Христовы! Хоругвь пана Барановского!

Монахи принялись совещаться. Дыдыньский ждал, что будет дальше. Ему было любопытно, когда же иссякнет терпение пана стольника — прикажет брать монастырь приступом, перевешает послушников и рясофорных на окрестных деревьях, а игумена поволочёт за конём, чтобы добавить казакам ещё одного мученика.

Однако иноки проявили благоразумие. Ворота распахнулись настежь. Один из чернецов указал им путь во двор. Вскоре они въехали на обширную четырёхугольную площадь между монастырским домом, покоями игумена, конюшнями, амбарами и каретным сараем. Посреди неё высилась церковь — стройная, из брёвен, тёсанных в лапу, с концами в виде ласточкина хвоста. Она была увенчана тремя куполами под гонтом и покоилась на дубовом основании и каменном фундаменте. Храм поражал богатым убранством. Под просторными галереями Дыдыньский увидел фрески и росписи, покрывавшие все стены. Но не это сразу приковало его взгляд.

Кресты... Почти весь холм, на котором высилась церковь, был усыпан православными крестами. Символы Страстей Господних стояли кучками и рядами, точно войско в строю — одни свежеструганые, другие прогнившие, покосившиеся, оседающие в землю, заросшие бурьяном. Их были сотни, а может, и тысячи. Дыдыньский не ведал, зачем принесли их сюда и воздвигли подле церкви, для чего вбили в чёрную, обагрённую кровью землю Украины.

Игумен ждал перед монастырским домом, окружённый толпой иноков в чёрных рясофорах и мантиях, с ликами, украшенными длинными бородами.

— Здравствуйте, братья, — молвил один из чернецов, помоложе прочих, с тяжёлым крестом на груди и убелённой сединою бородой. — Кто с Богом, тому Бог в помощь! Я иеромонах Иов, а это, — он указал на седовласого старца, — наш игумен Афанасий. Привечаем вас в скромных стенах обители Спаса Избавителя.

— Великое счастье тебе привалило, поп, — хмыкнул Барановский. — По заступничеству этого шляхтича, — он кивнул на Дыдыньского, — не спалю я ваш вонючий курятник. Но, — голос его перешёл в хищный шёпот, — помни, резун, что милость моя на пёстром коне ездит! Пожалеешь нам снеди, питья да горилки, и — клянусь вашими схизматскими святыми — вздёрнут тебя на верёвке из твоей же власяницы.

— Мы смиренные иноки, пане, — отвесил поклон игумен. — Дозвольте послать за мёдами. Мы ими прежде князьям Четвертинским дань платили. Тут, в полумиле, монастырская пасека стоит. Мёды там такие, что и при княжеском дворе лучших ваша милость не сыщет. Бочки с июля уцелели, от казаков упрятали. А мёд-то дивный, в месяце июле собранный с лип отборных, хмельной, что твой нектар небесный, коим сам Господь Бог с апостолами на небесах потчуются.

— Посылай, да поживее, ибо жажда нас томит, — бросил Барановский.

— Куда, пёсье отродье?! — взъярился тем временем Полицкий на Иова, который норовил бочком отступить. Ударил монаха по лицу, пихнул к коню Барановского, а после схватил за бороду, дёрнул и согнул едва не вдвое. Ротмистр выбросил ноги из стремян, спрыгнул на спину и шею монаха и этак сошёл наземь.

— Теперь-то, поп, — процедил Барановский, — будете гнуть шеи перед панами, как прежде бывало. А кто не больно проворно согнётся, тот сто палок отведает, ибо на помощь и защиту бунтовщика Хмельницкого нечего рассчитывать!

Дыдыньский не пошёл за Барановским. Направился к церкви, остановился перед затворёнными вратами, но внутрь не вошёл. Замер в галерее, загляделся на сруб, покрытый потемневшими росписями. Почти все изображали сцены Страшного суда: Христа, выносящего приговор грешникам, его престол, Рай, Богородицу, которой поклоняются грешники, благоразумного разбойника. Видно было, что живописцы пришли из Карпат или с Червонной Руси — откуда-то из-под Перемышля или Самбора, ибо на фреске виднелась польская смерть с косой, а черти, тащившие в ад грешников и иезуитов, были обряжены в делии и шляхетские жупаны. В центре росписи извивался огромный чёрный змий, покрытый кольцами и тянущий пасть к самому престолу. Зверь не мог угрожать трону Христову, ибо отгоняли его оттуда ангелы, заслоняясь большими православными крестами. Такими же, как те вокруг церкви.

«Нет больше сил», — подумал Дыдыньский. Всё стояли перед глазами рассказы Барановского о жестоких убийствах польской и русской шляхты, сожжённых усадьбах, могилах погибших. И — может оттого, что был слаб и болен — где-то в глубине души начало зарождаться убеждение, что стольник прав, а развязанный на Украине безумный хоровод убийств и мщения уже ничто не сможет остановить.

— Что же ты не пируешь с нами, брат?!

Дыдыньский вздрогнул. Рядом стоял иеромонах Иов.

— Я не из свиты пана Барановского. Пан ротмистр был бы рад, стань я таким, как он. Но я всё ещё сомневаюсь...

— Пан Барановский потерялся в своём горе, — тихо сказал монах. — Ты верно поступаешь, что не идёшь его путём, иначе погубил бы душу свою бессмертную. Один лишь Иисус может судить нас по любви к ближнему, а пан стольник хочет вершить этот суд уже здесь, на земле.

— Что это за кресты?

— Принесли их наши братья. На своих плечах несли, грехи замаливая, обеты данные Богу исполняя или за милость его благодаря.

— Видно, прибавилось их в последнее время, — горько усмехнулся Дыдыньский. — Много ли их поставили вашему Богу в благодарность за то, что перерезали нам глотки? Сколько Хмельницкому за то, что извёл ляхов и жидов на святой Руси?

— В этих крестах сила — зло отгонять. Нельзя их ставить во славу злодеяний. Мы раздаём их просящим, а крестьяне относят туда, где нечисть прячется: на урочища под Сатановом, на проклятую гору, под Каменкой и Рашковом на басурманские могилы. И на перекрёстки, где упыри кровь людскую пьют. Вон там даже крест стоит, — показал брат Иов, — за упокой души князя Яремы, что после смерти упырём стал и теперь вечно бродит по Украине.

Дыдыньский холодно усмехнулся:

— Ясновельможного Иеремию Корибута год назад в Сокале похоронили. А после княгиня тело на Святой Крест перевезла.

— Никто тебе не скажет, брат, да только тело князя исчезло. И на Святом Кресте в аббатстве его нет. Стал Ярема упырём после смерти... За кровь пролитую, за колья и виселицы на Украине.

— Молчи, поп!

— Пан стольник был его слугой. Той же дорогой идёт, что и господин его — прямиком в пекло. Ясновельможный ротмистр душу дьяволу продал!

Барановский возник подле них словно призрак. Дыдыньский вздрогнул, схватился за саблю, а Иов перекрестился. Но ротмистр даже не взглянул на них. Отворил двери церкви, вошёл внутрь. Дыдыньский смотрел ему вслед. Барановский миновал притвор и неф, опустился на колени на амвоне перед алтарём и начал молиться, склонив голову.

— Беги! Уходи, пока можешь! — прошептал Иов.

— Я дал *nobile verbum*, что не оставлю пана Барановского.

— Слово шляхтича? Сгубит нас эта честь... пан-брат.

— Не говори, что ты родовитый или из благородных.

— До пострига звали меня Иван Голубко. Из киевских бояр я. Жена была... Саломея Брыницкая. В церкви венчались, под коронами. Когда Хмельницкий бунт поднял, укрылись мы в Баре, который потом Кривонос взял. Чернь нас живыми схватила, а как жена моя ляшкой была, велели мне её и детей... убить.

— Иисус Мария! — Дыдыньский перекрестился. — И ты сделал это?

— Не сделал бы — казаки их на кол посадили бы. А так хоть смерть лёгкую приняли. После того к монахам и ушёл.

Повисла тишина.

— А я, — проговорил, наконец, Дыдыньский, — был послан наказать Барановского. Но не смог...

— Не одолеешь ты его, брат. Это бес, за грехи наши посланный. Беги, молю! Ты не такой, как они. Тут скоро ад начнётся!

Двери церкви со скрипом затворились. Дыдыньский хотел уйти, побрести между крестов. Но остался. Изнутри, из храма, донеслись... голоса.

— Пан-отец, пан-отец, — плакал детский голосок.

— Тише, тише, дитятко, — шептал Барановский.

— Страшно, страшно... — всхлипывал другой, ещё тоньше. — Они здесь?!

— Косы, косы у них! Жуткие...

— Не бойтесь. Я с вами.

— Они вас убьют, пан-отец. Вы должны...

Дыдыньский слушал, леденея от ужаса. Приник ухом к деревянным вратам, но голоса смолкли.

Миг спустя двери распахнулись настежь. На пороге стоял Барановский. Он смотрел на Иова. Медленно поднял руку с пистолетом...

— Неееет! — вскричал Дыдыньский.

Слишком поздно!

Грянул выстрел. Свинцовая пуля раздробила череп монаха, кровь брызнула на фрески, запятнала лики ангелов, окрасила багрянцем образ Христа.

Выстрел едва не оглушил Дыдыньского. Сквозь звон в ушах поручик услышал, как где-то за крестами, за монастырскими постройками зарождается крик, от которого цепенели казаки и падали на колени крестьяне по всей Украине.

— Ярема! Яреееемааа!

Дыдыньский кинулся к Барановскому. Попытался схватить его за жупан у горла, но ротмистр огрел его рукоятью пистолета по голове и оттолкнул. Поручик с криком боли ударился раненым боком о стену и рухнул на колени.

Он видел всё. Был свидетелем того, как вишневетчики рубили монахов саблями, крушили чеканами и секирами, отсекали воздетые в мольбе руки послушников, убивали без передышки, без жалости, с жестокой сноровкой очерствевших душой солдат. Как гоняли монахов верхом вокруг церкви, ловили арканами. Видел попытки сопротивления — как монахи стащили с седла одного из всадников, и тот рухнул между крестами, круша прогнившие жерди и столбы; видел, как потом иноков изрубили чуть ли не на куски. Сопротивление длилось недолго. Вскоре на монастырском дворе остались только люди Барановского. И трупы убитых — одни недвижно лежали в лужах крови, другие бились в предсмертных судорогах, а третьи застывшим взором смотрели в осеннее небо.

— Прибрать падаль, замыть кровь, укрыть коней! — скомандовал Барановский. — А вы по домам да в церковь. Ждать сигнала, господа.

Вскоре убрали тела, засыпали песком кровавые пятна на площади и тропинках вокруг церкви. Затем панцирные попрятались в сараях, домах и овинах. Дыдыньского уволокли в конюшню.

Ждать пришлось недолго. Красное солнце уже тонуло в туманной дымке на западном краю небосклона, когда перед монастырскими воротами загремели конские копыта. Это были казаки. Дыдыньский глянул через щель в стене и тотчас признал их по серым да зеленоватым жупанам, выцветшим свиткам и бекешам.

Запорожский дозор влетел во двор; не увидев следов побоища, молодцы обогнули церковь и повернули к воротам. Не прошло и четверти часа, как из леса донёсся до них топот копыт, храп коней да звон мундштуков. Через ворота въехало не меньше двух сотен всадников. То была не пешая чернь с дрекольем да мутовками, а запорожцы — видать, сотня из Брацлава или Кальника. Все при добром оружии, на трофейных сёдлах, с саблями, ружьями да бандольерами, награбленными из арсеналов, усадеб, замков и городов по всей Украине.

Казаки обступили церковь, не зная, что делать дальше. Ни следов боя, ни крови, ни трупов. Растерянные, принялись кликать монахов, не ведая того, что после миропомазания польскими саблями чернецы хоть и безропотно внимали гласу Христову, да только к запорожским призывам оставались глухи.

Первый выстрел грянул как удар грома. Из церкви, домов, лавок и конюшен высыпали люди ротмистра с пистолетами да ружьями в руках. Казаки взвыли — только и успели.

Шляхтичи и их дружинники вскинули стволы как один. Дыдыньский услышал грохот кавалерийских пищалей да глухую дробь ружей и самопалов — то панцирные потчевали казаков свинцовыми гостинцами, что должны были вежливо, но твёрдо попросить их спешиться. В ответ огласилась округа ржанием коней, криками перепуганных молодцов, стонами раненых да умирающих, визгом падающих лошадей.

В мгновение ока панцирные налетели на казаков с рогатинами наперевес. Обрушились на них как буря — кололи, сшибали с коней, палили в упор из пистолетов и мушкетонов. У казаков не было ни единого шанса. Стиснутые на подворье, зажатые между крестами и галереей церкви, рассеянные промеж монастырских построек, они отбивались с отчаянием обречённых, рубя саблями, стреляя из ружей. Их кони ржали, налетали на кресты, заборы да ограды, сбрасывали всадников, лягались и вставали на дыбы. А когда в руках панцирных переломались рогатины да копья, добрые сабли барские, сташовские да сандомирские позвали казаков на последний танец.

Дыдыньский и не приметил, когда кончился разгром и началась резня. Панцирные охотились на запорожцев, что искали спасения в гумнах, овинах, амбарах да на колокольне. Добивали их споро, вытаскивали за чубы да оселедцы из навоза и стогов сена. За теми, кто к лесу кинулся, гнались конные дозоры Барановского, остальных ловили поодиночке да по двое арканами.

Битва была окончена.

***9. Вето!***

Окровавленных, едва живых пленников приволокли пред очи Барановского. Ротмистр не стал чваниться с простыми казаками. Велел вывести их за стены и вздёрнуть без лишних затей. Причём затеями этими почитал даже предсмертную исповедь али молитву. Не раз, бывало, толковал он, что запорожцы суть religiosus nullus, а церковь на Сечи поставил только Хмельницкий; стало быть, давать им срок на примирение с Создателем — пустая блажь да дворянские причуды.

Всё внимание ротмистра обратилось на двух главных пленников. Первым был молодой, статный казак с высоко выбритой головой, оселедцем, закрученным вкруг ушей, длинными просмолёнными усами да зеленоватыми глазами. Таким он, верно, был ещё вчера, когда гордый атаман водил молодцов, млели по нему молодицы да дворовые девки. Теперь же был он избит, окровавлен. Орлиный нос перебит, глаз выбит панцирными ротмистра — чёрная впадина подёрнулась сосульками запёкшейся крови. Левое ухо болталось клочьями, на голове застыли пятна юшки, перемешанной с пылью да грязью. Надо отдать ему должное — долго не давался он в руки живьём, прекрасно зная, что смерть его от ляшских рук будет долгой да мучительной. Однако паны-братья вишневетчики были горазды на поимку живьём гультяев да резунов. И по той науке атаман, живой, хоть и сломленный, достался пану ротмистру.

— Александренко! — Барановский прихлопнул в ладоши, точно украинский князь при виде наилучшего анатолийца из своего табуна. — И куда ж тебя занесло, хлопче? Не сладко ль было служить рукодайным у панов Потоцких? Имел бы и справу добрую, и талер на святого Мартина. А нынче что? Золотом уже мошну не набьёшь, да и до святого Мартина, сдаётся мне, не дотянешь. Хотя, может, ты и впрямь казак крепкий, что и неделю на колу выдюжишь. Бывали такие молодцы. Наливайко в Варшаве пять дён продержался, а князь Байда Вишневецкий в Стамбуле — упокой, Господи, его грешную душу — за лук схватился и перед кончиной ещё басурман настрелял.

Александренко харкнул кровью сквозь изломанные зубы.

— Я вашу милость о смерти молю, не о поученьях.

— Уверяю тебя, сие последнее поученье, — покачал бритой головой Барановский, — кое могу тебе преподать. Панове, выведите сего молодца за монастырь, возьмите самый большой крест из-под церкви да выстругайте из него кол. Да повыше, чтоб пана сотника по чину вознести.

Барановский обратился ко второму пленнику. То был игумен Афанасий. Стоял на коленях, творя молитву.

— Дыдыньский!

Шляхтич не отрывал глаз от игумена. Теперь всё становилось ясно как божий день.

— Гляди, пан-брат, сколь велика в здешнем люде ненависть к шляхте. Вот молил ты меня пощадить монастырь. Я внял твоей просьбе. А когда иноки потчевали нас вином да яствами, сей благочестивый игумен Афанасий сам в Ольшанку за мёдом подался. Хитрец, истинно — вместо липца с казаками воротился. Вздумали нас чернецы упоить да из засады выдать молодцам, чтоб головы нам живьём поотрывали. Вот она, благодарность за твою милость, пан-брат.

— Заткнись, демон, — отрезал Афанасий. — Господи, отпусти грех наш, что не достало сил одолеть польского беса. Всё положили во славу Твою: обитель, живот свой, ибо Ты, Господи, и караешь, и милуешь. Но придут иные, кто довершит наше дело. И не станет более бес на пороге Твоей церкви.

— Слышишь, пан поручик? — прошипел Барановский. — Запомни его слова, прежде чем взмолишься о милости во второй раз. А теперь сруби башку гордецу, что предал тебя, и будь мне братом... С твоей подмогой усмирим Украину на веки вечные.

Дыдыньский медленно обвёл взглядом игумена, Барановского и прочих шляхтичей. Трупы, кровь, деревья да кресты, увенчанные телами вздёрнутых казаков. И хоть окрест бушевал пожар да ржали перепуганные кони, поручику почудилось, будто вокруг воцарилась гробовая тишь.

— Убей попа! — процедил сквозь зубы Барановский. — И добро пожаловать в нашу хоругвь! Сам видишь, что проиграл, пан-брат! Моя взяла!

Дыдыньский положил ладонь на рукоять сабли.

— Не убью его. Я не таков, как ты.

— Что?! Руби ему голову, сей же час! Здесь!

— Нет! Довольно с меня крови!

— Пан Дыдыньский! — Барановский аж почернел от ярости. — Нет пред тобой иного пути, как стать нашим собратом. Руби попа!

Дыдыньский выхватил из ножен саблю и отшвырнул её прочь.

— Вето!

Они узрели лишь блеск, а после услышали свист. Ещё не замер он в ушах, когда голова Афанасия покатилась по земле. Барановский впился взором в Дыдыньского, и глаза его полыхали лютым гневом.

— Ты сделал выбор, пан поручик, — процедил он. — Выбор верный. Не стану боле таскать тебя без толку по Подолью. Здесь настанет конец твоим мукам. Пан Бидзиньский!

— Слушаю, пан ротмистр!

— Возьмёшь десять челядинцев с пищалями, выведешь его милость Дыдыньского за стены — и пулю в лоб. А после похоронишь с воинскими почестями!

Бидзиньский побелел как полотно.

— Как же так?! Расстрелять поручика? Сына героя Зборова?!

— Это приказ!

Бидзиньский положил руку на плечо Яна. Но поручик яростно стряхнул её.

— Сам пойду! — прорычал он Барановскому. — Не вели хватать меня, точно пса!

— Ступай, сударь. Пусть всё это кончится.

***10. Погребение поручика***

В последний путь его провожала целая дружина. Бидзиньский собрал без малого три десятка конных. Привёл и верного коня поручика.

— Пешим пойду, — буркнул Дыдыньский.

— Садись в седло, ваша милость, чтоб тебя! — взъярился Бидзиньский. — Не то силком посажу!

Поручик смирился. Один из челядинцев подхватил жеребца под уздцы и повёл за собой. Споро выехали за монастырские стены, у ворот пригнули головы, чтоб не коснуться босых стоп удавленных чернецов. Один из них ещё не отмучился — хрипел да извивался на вервии.

По пути к ним прибивались новые шляхтичи со свитой; к исходу часа за спинами Бидзиньского и Дыдыньского ехала почти вся хоругвь панцирных.

Перед самой чащобой поручик осадил коня. Оглядел своих людей, переводя взор с одного изрубцованного лица на другое.

— Храни вас Господь! — вымолвил он сквозь стиснутые зубы. — Отпускаю вам измену вашу, паны-братья. А коли к гетману воротитесь, так скажите... что я во всём повинен. Глядишь, головы свои уберёте!

Снял колпак, откинул назад длинные, по бокам выбритые волосы и вперил взгляд в лес, затянутый осенней мглою.

Напрасно. Всё напрасно. Столько дней; столько лишений, кровавых сеч, погонь да стычек... Барановский взял над ним верх. Выиграл битву за души его ратников.

— Долго мне ждать?! Не слыхали приказа ротмистра?!

— По коням! — гаркнул Бидзиньский.

Ринулись вскачь через темнеющий бор. Вылетели на тропу, после на поляну, промчались сквозь туманы, перемахнули через ручей, а там вырвались в подольскую предвечернюю степь. Холоп передал Дыдыньскому поводья его скакуна, люди Бидзиньского закинули за спины бандольеры да пищали.

— С Богом!

Отпустили поводья, припали к сёдлам да ленчикам, и добрые польские кони понеслись легко да быстро, что твои соколы, через степные просторы. Дыдыньский ощутил, как ветер треплет ему волосы, как копыта конские гремят по твёрдой земле, как полощутся полы его делии. А после почуял под коленом знакомую рукоять буздыгана, что отнял у него Барановский, и только тогда уразумел, что Господь даровал ему чудесное спасение.

***11. Дьявольское дело***

— Твоя милость были правы, — прохрипел Бидзиньский. — Этот человек рассудком помутился; несёт околесицу, что твой Пекарский на дыбе. Вознамерился Украину в крови утопить, оставить тут одно небо да землю. Я больше войн повидал, чем твоя милость девок в блудилищах, но таких страшных убийств в жизни не видывал.

Наместник дышал тяжело, будто после долгого бега.

— Мы давно уже сговорились с панами-братьями дать дёру. Всё случая подходящего не было. Но когда твою милость на смерть приговорили, я понял — край пришёл. Тут же с товарищами спелись, и как один порешили: катись к чёрту, пан Барановский. Только промеж собой, конечно, а то наши головы попадали бы, что спелые груши.

— Что теперь? В лагерь возвращаемся?! — спросил пан Кшеш.

— Нет, ваши милости, — Дыдыньский покачал головой. — Приказ есть приказ, и мы его исполним. Его милость гетман Потоцкий велел Барановского живым доставить — вот и доставим!

— Пан-брат, да он же сущий дьявол. Никому с ним не сладить. По ночам молится, голоса слышит. С покойными детками своими беседует, с князем Яремой, с паном Лащем, с Вишневецкими, что в битвах сгинули. Проклятые души о засадах его упреждают, всё ему доносят: что враг замыслил.

— Сказывают, — проворчал Кшеш, — чем больше Барановский холопов да казаков погубит, чем больше полей брани и лобных мест за собой оставит, тем сильнее власть его над живыми и тем гуще страх на врагов его падает. Оттого что всё больше неприкаянных душ вокруг него вьётся.

Дыдыньский осадил коня и погрузился в раздумья.

— Коли сила Барановского в убийствах, резне да насилии корень имеет, то я знаю, что надобно делать. Ваши милости, я знаю, как рога этому стольнику обломать!

— Ты рехнулся?! В лагерь надо возвращаться, гетману доложить!

— Милостивые паны! — молвил Дыдыньский. — Раз уж вы от дьявола отступились и под моё начало вернулись, стало быть, должны мне повиноваться. Не стану таить, кое-чему вы меня научили... смирению. Потому не хочу никого силой удерживать, ни угрозами, ни пистолетом. Однако коли в ком шляхетская кровь течёт, прошу — помогите мне стольника изловить.

— У Барановского своя хоругвь при себе, да ещё часть нашей! Всего полторы сотни сабель! А нас от силы четыре десятка. Как же ты с эдакой силищей совладать думаешь?!

— Поезжайте со мной, всё сами увидите!

— Не может того быть!

Дыдыньский развернул коня. Бидзиньский схватился за голову и выругался себе под нос.

— Курва мать и ёб твою! — простонал он. — Будь что будет, иду!

И двинулся следом за поручиком.

А за ним потянулся весь отряд.

***12. Кресты***

Когда наутро они воротились в монастырь, здесь не было ни души — кроме, само собой, душ запорожцев и монахов, что наверняка витали окрест, ведь тела их так и лежали непогребёнными. Кони тревожно всхрапывали, учуяв мертвечину, а на церковной крыше чернели стаи воронья.

Дыдыньский замер перед храмом, вглядываясь в частокол православных крестов вокруг.

— Нужна будет добрая повозка, — проговорил он. — И четвёрка лошадей.

— На кой, Христа ради?! — вскинулся наместник. — Никак ваша милость церковь грабить вздумали?

— Хочу забрать отсюда эти кресты.

— Кресты?

Дыдыньский хмыкнул в усы и упёр руки в бока.

— Всему своё время, милостивые паны!

К вечеру они вколотили первый крест в излучине реки — там, где четыре дня назад Барановский разметал большую ватагу черни. Следующий поставили в Купичинцах — деревне, дотла разорённой и спалённой вишневетчиками. Ещё один — с надписью: СПАСИ, СОХРАНИ — вбили в землю на ближней горе, где украинские головорезы сожгли шляхетскую усадьбу вместе со всей семьёй.

А когда следующей ночью они ставили очередной — на сей раз в лесу под Стеной, где ветви деревьев гнулись под тяжестью повешенных крестьян, где некогда стоял родовой двор Барановских — Дыдыньский мог бы поклясться, что чует, как ротмистр мечется на своём ложе. Когда они вгоняли древко в землю, поручик был почти уверен, что враг его стонет и мечется во сне. Он печально усмехнулся. Жатва велика, а делателей мало...

***13. В волчьей шкуре***

Иван Сирко почесал грязным пальцем свою битую казацкую башку, забросил за ухо просмолённый оселедец. Не страшился он ни виселицы, ни кола, да только то, чего требовал от них этот молодой лях, заставило стынуть кровь в жилах.

— Раздевайтесь все, да шибче! — рявкнул Дыдыньский. — Долой жупаны, свитки, бекеши. Догола! Рубахи тоже.

— Слыхали, что пан поручик велит?! — подхватил усатый лях в кольчуге. — Кто хоть шаровары на себе оставит, тому жопу так изукрашу – как Москва после татарского набега стенет!

Сирко аж онемел. Всяких польских панов на веку своём навидался. И лютых, и дурных, и чванливых, и бешеных, встречал и пропойц, и старост никчёмных. А вот ляхов-содомитов довелось узреть впервые! Медленно расстёгивал пуговки жупана, искоса зыркая на мучителей. А казацкую его башку всё сверлил жуткий вопрос: по-турецки их драть станут али в ряд построят да велят задами крутить? Одно лишь тешило — такое-то сажание на кол авось и пережить сподобится. Хотя прознало бы про то товарищество — страшно было бы потом на Сечи показаться.

— Кто уж голый — пшёл вон! — зычно гаркнул старый лях. — А кто обернётся — пулю в лоб схлопочет!

Дыдыньский подобрал с земли длинные запорожские шаровары.

— Ну вот мы и казаки, — весело бросил он. — Здорово, брат-атаман!

***14. Золото игумена***

— Ясновельможные паны! — холоп Мыкола елозил шапкой по полу корчмы так рьяно, что в воздух взметнулось облако пыли, пепла да старых опилок. — Казаки в монастырь пожаловали!

— Хама за порог и на осину! — Барановский даже не оторвал глаз от кружки пива. — А перед тем всыпать двести плетей! Пущай и челядь потешится.

Да только холоп не дал сбить себя с намеченного пути.

— Ясновельможный пан-добродетель! — возопил он, дивя всех присутствующих витиеватостью речи. — Ты есть Бог единый из Троицы Пресвятой! Не губи доброй верёвки на мою хамскую глотку, пан вельможный!

С тем и бухнулся в ноги пану, принявшись лобызать заляпанные грязью бахмачи ротмистра. И правильно сделал — пан Барановский держал уши в носках подкованных сапог, особливо во время разговоров с чернью да простым людом.

— Казаки пришли, что ни на есть истинные, — скулил холоп, — резуны, псы окаянные. Чтоб мне галицкой хворью изойти, коли брешу. Те самые, что нам хутор разорили. Все, чтоб им пусто было — одной шлюхи выродки.

— Не те ли из сотни Александренко, что там второй день на вервии качаются?

— Казаки пришли за червонным златом да дукатами игумена.

Тут уж Барановский соизволил уделить холопу толику внимания.

— Одно лошадиное дерьмо там осталось да казацкая падаль. Весь монастырь вверх дном перевернули, и верь мне, хам, в твоём кожухе вшей больше плодится, чем талеров в игуменовом сундуке водилось.

— Как же им там быть, пан вельможный, коли они совсем в ином месте схоронены!

— Да ну? И где ж такое место?

— Сперва ваша милость награду мне посулит.

— В награду жизнь сохранишь, на осину не отправлю.

— Только тогда из монастырской казны ваша милость ни единого шеляга не узрит.

Барановский крепко призадумался.

— Ладно, будет, — молвил он. — Даю слово шляхетское, что по заслугам вознаграждён будешь. А теперь сказывай, где злато!

— В пещерах под церковью, — зашептал холоп. — Казаки туда подались, окрест церкви только стражу расставили. Слыхал я, что скалы долбят. Бочки ищут с червонцами, тымфами да талерами... А есть там и орты, есть шостаки, дукаты бранденбургские, португалы да флорины целые!

— Так сколько, сказывал, тех казаков?

***15. Месть***

Они влетели на монастырский двор и осадили коней, завидев конных семенов[9], что церковь окружили. При виде хоругви Барановского запорожцы попрыгали с сёдел, похватали мушкеты да бандольеры и кинулись к воротам.

— За ними! — вскричал Полицкий. — Лови!

— Стоя-а-ать! — Барановский загородил им путь. — В монастырь! Это засада!

Тотчас несколько десятков товарищей и почтовых соскочили с сёдел. Что было духу кинулись к монастырскому дому. Только, кажись, влетели внутрь — а уж в следующий миг выскочили с другой стороны строения. Всё обшарили, каждую горницу обыскали, на чердак заглянули, несколько досок из пола повыдрали.

— Ни души живой! — доложил Полицкий.

— К церкви!

Помчались к деревянному строению и спешились прямо у паперти. Кто-то пальнул в двери, другие подбежали с топорами. А зря — врата не заперты были. Хватило двух крепких пинков, и они с треском распахнулись, явив тёмное нутро, ряды икон да потемневшие росписи по стенам. С мандилиона глядел на них с лёгкой улыбкой Иисус Христос.

Товарищи рассыпались по храму. Панцирные заглянули во все углы притвора и нефа; через царские и дьяконские врата ворвались в алтарь, замерли перед престолом, что саблями изрублен был да запёкшейся кровью покрыт. Справа от него зиял пролом в половицах. Глянули под ноги — а там каменные ступени вниз уходят, в катакомбы.

— Там схоронились! — проворчал Полицкий. — Ваши милости, кто первый? Кому золото милее головы на плечах?

— Он первым пойдёт. — Барановский выхватил пистоль, с лязгом взвёл курок и упёр дуло в башку холопа, что их сюда привёл. — Хам! Время барщину отрабатывать. Марш! — скомандовал он и одарил ледяной усмешкой. — Заработаешь на награду! А вы, — зыркнул на Полицкого, — тут со своими людьми останетесь!

Холоп безропотно ступил на лестницу. За ним двинулся Барановский с пистолем, следом остальное товарищество, замыкала челядь с мушкетами.

Катакомбы глубокие были. Видать, выдолбили их в незапамятные времена. Свет факелов выхватывал из мрака груды черепов да костей, ржавые мечи, сабли да шеломы, что под стенами валялись. Во многих местах стояли пустые бочки да сундуки, на стенах виднелись следы огня и каменные очаги. Знать, катакомбы укрытием служили во время татарских набегов.

Спустились вниз и встали в большой, в камне высеченной палате. Отсюда три выхода вели. Барановский, недолго думая, подтолкнул холопа к самому широкому, а наместнику своему на два остальных указал. Разделились. Шли через завалы черепов, минуя ниши в скалах, где покоились высохшие, скрюченные тела монахов, что остатками истлевших лохмотьев прикрыты были.

Где ж казаки подевались? Неужто растворились в лабиринте палат да переходов? Никто по людям Барановского не стрелял, никто за поворотом не мелькнул. А может, был из катакомб потайной выход, которым молодцы и ушли?

А потом вошли в большую просторную палату. В стенах десятки ниш выдолблены были, куда кости монахов сложили. Тут же пожелтевшие черепа скалились на людей ротмистра, на полу валялись переломанные берцовые кости, меж которых шмыгали пищащие перепуганные крысы.

Барановский вдруг встал как вкопанный, положил свою тяжёлую, от сабли задубевшую правицу на плечо холопа.

— Пан Дыдыньский! Где твои люди?!

Холоп обернулся быстро да ловко. Сорвал с головы меховую шапку, отодрал приклеенную бороду, явив заросшее лицо пана Бидзиньского, наместника гетманской хоругви.

— С мертвецами в гробах лежат!

С хрустом костей, с треском да стуком разлетающихся черепов и берцовых костей ожили трупы в нишах. В единый миг мёртвые тела монахов, ветхими тканями укрытые, поднялись, вскочили на ноги; а вооружённые служки выкатились из-под груд черепов да костей. Иные сбросили с себя лохмотья и выпрыгнули из-за высохших тел. С лязгом взводимых курков тридцать стволов уставились прямо в лица людей Барановского.

— Бросайте ружья и сабли, господа! — прогремел голос Дыдыньского, стряхнувшего с себя остатки скелета и вскочившего на ноги. — Не нужно здесь кровопролития! Выдадите ротмистра — и дело с концом!

Холодная усмешка искривила губы Барановского.

— Сложите оружие, сударь! — Дыдыньский протянул руку. — Незачем губить добрых солдат.

Ротмистр схватился за ствол пистолета и шагнул к поручику. Он скалился потрескавшимися губами, взгляд его сочился насмешкой над предполагаемым победителем. А когда почуял, что Дыдыньский тянется к рукояти, внезапно толкнул его и что было мочи саданул рукояткой в живот!

Дыдыньский согнулся пополам. Барановский выпустил ствол и кинулся к выходу.

Бидзиньский выстрелил... Мимо.

Пуля прошла у самого уха Барановского, расколола пожелтевший череп, отрикошетила от скалы с оглушительным визгом. Ротмистр долетел до выхода из коридора и застыл, когда из темноты выскочили трое почтовых с ружьями наперевес. Но прежде чем они успели его схватить, брацлавский стольник крутанулся волчком, прыгнул к поручику и рубанул саблей отчаянным, смертоносным ударом!

Дыдыньский ушёл от удара в последний миг. Припал на пятки, перекатился в сторону, избегая следующего выпада. Увернулся от плоского, низкого удара, перекувырнулся над клинком.

— Саблю!

Бидзиньский метнул ему оружие. Дыдыньский поймал его в воздухе, не коснувшись ещё земли, перекатился, вскочил на ноги и молнией принял вторую защитную стойку из нижней позиции. Клинки схлестнулись со звоном, когда Барановский обрушился на него штормовой волной. Рубил не переставая: в грудь, крестом, а потом — с молниеносного разворота — наотмашь. Парировал отбив Дыдыньского и хлестнул влево, а следом вправо, со всего размаха!

Дыдыньский отбил удар на самом излёте. Выстоял против атак противника, хоть и держал саблю низко, пригибался на полусогнутых и выскакивал вперёд точно волк, норовящий цапнуть преследующего его охотника, чтобы тут же отпрянуть на безопасное расстояние и измотать врага. Барановский рубил наотмашь, влево, с подъёма, не переводя дыхания. Бил во всю мощь, не считаясь с отбивами и встречными выпадами.

А потом Дыдыньский отпрянул назад, единым движением ушёл с линии удара, метившего в грудь, проскользнул под клинком и провёл разящую встречную атаку!

Барановский схлопотал по голове. Стольник застыл. Дыдыньский добавил по руке, с подъёма — быстрее молнии.

Ротмистр вскрикнул, сабля вывалилась из пальцев. Рухнул оглушённый на правое колено, по лицу заструилась кровь.

Дыдыньский обошёл его, приставил к горлу отточенное лезвие сабли.

— Будет с вас, сударь, — спокойно процедил он. — Не станем играть в похороны стольника — я ведь катафалк не прихватил!

Барановский смолчал. Осел на колени, упёрся ладонями в пол. И тут же его люди побросали оружие.

— Того и добивался! — хмыкнул Дыдыньский.

***16. Замок скорби***

До Хмельника добрались два дня спустя. Барановский, которого вели на заводной лошади, не проронил ни слова. Не молился, не сетовал, не гневался. Лишь буравил пронзительным взглядом Дыдыньского и конвой.

На Подолье стояла тишина. По пути не встретили ни разбойных ватаг, ни черни, ни левенцов[10] из-за Днестра. Сёла, хутора и казацкие паланки стояли безлюдные, города не отворяли ворот никому. Так и ехали они по осенним брацлавским степям, пробирались лесами, где с дубов, ольхи и берёз слетали последние золотые листья. По ноябрьскому небу к городу тянулись огромные птичьи стаи — точно предвестники грядущих войн, кровопролития и смуты.

Наконец показался городок на крутом берегу Буга, и они тотчас направились к воротам. В Хмельнике царило небывалое оживление. В город втягивались обозные телеги, по улицам метались конные гонцы, все постоялые дворы и корчмы ломились от солдат.

— Мы к ясновельможному гетману великому, — молвил Дыдыньский гайдукам у ворот. — Везём важного пленника.

— Гетман уже в костёле, — печально качнул головой десятник, старый как древесный гриб, помнивший, верно, ещё бунт Наливайко. — У алтаря найдёте.

Дыдыньский уже знал... Уже начинал понимать всё. Взял с собой Бидзиньского, дюжину почтовых и двинулся по узким улочкам к костёлу Святой Троицы. Вскоре добрались до места, спешились. Рейтары из полка Денгофа, державшие караул, пропустили их без слов. Дыдыньский вошёл в сумрачное нутро храма, перекрестился и зашагал, позвякивая шпорами, к главному алтарю.

Николай Потоцкий, гетман великий коронный, каштелян краковский, господин и наследник украинных владений, покоился на возвышении, затянутом бархатом. И к чему теперь ему гетманская булава, почести да достоинства, коли глаза сомкнуты навек, а лик мертвенно-бледен. В сложенных для молитвы ладонях застыл крестик.

Дыдыньский преклонил колени и склонил голову. Вот он, предел его странствия, конец кровавой погони за Барановским. Исполнил последнюю волю гетмана, изловил стольника, умиротворил Брацлавщину. Только вот поведать об этом каштеляну уже не дано.

Склонился и приложился к перстню гетмана.

— Почивайте с миром, ваша милость, — прошептал. — Барановский пойман, и я позабочусь о его здравии.

Поклонился и направился к выходу. Однако едва оказался в нескольких шагах от могучих дубовых врат, взгляд его притянул вельможный пан в алой делии, восседавший на одной из скамей в окружении многочисленной челяди. Дыдыньский хотел было пройти мимо, но двое панцирных товарищей в кольчугах преградили дорогу, а после указали на гордого шляхтича. Яну не оставалось ничего, кроме как приблизиться и отвесить поклон.

— Пан Дыдыньский из Невистки, — презрительно процедил незнакомец, не удостаивая поручика взглядом. — Прихвостень этого пропойцы Потоцкого. Опоздал ты, пан... братец. Гетман великий уже в могиле, теперь при мне бунчук и власть. — Он звучно хлопнул золотой булавой по раскрытой ладони.

Дыдыньский смолчал. Он отлично понимал, что лучше бы встретить здесь самого Хмельницкого. Или сотню запорожцев, не видавших месяц ни бабы, ни козы. А то и самого Вельзевула, который, право слово, был бы не столь опасен, как изголодавшиеся казаки. Предпочёл бы узреть на скамье царя московского — только бы не Мартина Калиновского, гетмана польного коронного, заклятого недруга Николая Потоцкого. Поручик ни мгновения не сомневался: надменный магнат теперь отыграется за годы раздоров и распрей с великим гетманом, отомстит за отстранение от командования. Калиновский даже в походном лагере оставался более вельможным паном, нежели военачальником. Ян прекрасно знал его славу: нетерпелив, упрям, спесив и мстителен до крайности. Этот могущественный гетманчик отродясь никого не слушал, пропускал мимо ушей мудрейшие советы, унижал старейших солдат и полковников, а к ротмистрам и старшине из полка покойного гетмана Потоцкого питал неизбывную ненависть.

— Что поведаешь мне, милостивый поручик? — процедил Калиновский. — Где тебя нелёгкая носила? С молодками миловался? Жидов да армян обирал?

— Преследовал пана стольника брацлавского. По воле покойного гетмана великого коронного.

— И что же, изловил?

— Всё так, как есть.

— Экий ты глупец, пан Дыдыньский, что послушался этого пропойцу.

— Пан стольник нарушил уговор с казаками.

— Потому-то я и велел его освободить.

Дыдыньский опустил руки, упёрся ими в бока и зло зыркнул на гетмана польного.

— Ваша милость, это человек лютый, сам дьявол подольский. Он попрал соглашения, чуть войну не разжёг. Он безумец, душегуб...

— Война и без того грянет со дня на день, — оборвал его Калиновский. — Оттого-то мне и нужны такие душегубы, как пан Барановский. Он водворит мир на Украине. Вечный мир. Справедливый мир.

— Покойный пан краковский, — чеканя слова, проговорил Дыдыньский, — назначил меня исполнителем своей последней воли. А воля та была — чтобы на Украине более не лилась кровь. Барановский не исполнял его приказов. Я твёрдо знаю, что не станет он исполнять и ординансов вашей милости, коли те придутся не по нутру. А посему должен предстать перед судом.

— Довольно! — вскипел Калиновский. — Я решил, и я здесь приказы отдаю! Барановский будет волен и вернётся в хоругвь. Сказал — и не отступлюсь. Сгинь с глаз моих!

Дыдыньский отвесил поклон и зашагал к дверям. В единый миг всё пошло прахом, обратилось в ничто. Его яростная погоня, предательства, засады; завещание Николая Потоцкого и его последняя воля рассыпались пылью, а мечты Дыдыньского о собственной хоругви разлетелись как полова на ветру.

Но распря с Калиновским или явное неповиновение могли привести его лишь в одно место — на палаческий помост, а если бы фортуна улыбнулась, то и то закончилось бы лишь позорным изгнанием из войска под пение трубы.

Вышел на паперть и вдохнул холодный осенний воздух. Странное дело — Бидзиньского и почтовых нигде не видать.

— Где моя челядь? — спросил он охрипшим голосом у пахолка. — Люди, что прибыли со мной?

— Его милость пан гетман отослал, — съёжился в поклоне слуга. — Молвил, что вашей милости свита более не надобна.

Дыдыньский вскочил в седло. Челядь Калиновского поопускала головы. Гайдуки и почтовые отводили глаза, избегая его взгляда. А поручик уже догадывался отчего.

***17. В широкой степи***

Они поджидали за воротами Хмельника. На тракте к Янову. Восседали на взмыленных, запенённых конях, в рваных жупанах, в колпаках и мисюрках, что зияли дырами, точно портки нищего деда, которого потрепали дворовые псы. Дыдыньский видел их бледные лица, сабли, секиры и чеканы. А сбоку на великолепном вороном коне замер с буздыганом в руке пан стольник брацлавский Ян Барановский.

Ждали.

Дыдыньский страха не выказал. Неспешно обнажил саблю, выпрямился в седле и поехал шагом прямо на поднятые клинки, дерзко глядя в глаза вишневетчикам; один против целой хоругви. А когда достиг цели, багровый шар солнца канул куда-то в степи, скрылся за Бугом, за лесами и кровавыми полями Украины.

[1] В контексте истории Польши XVI-XVII веков «заезд» (польск. zajazd) - это своеобразная форма самосуда, узаконенная обычаем шляхетским правом. Это был вооружённый захват имения или земли при имущественных спорах между шляхтичами. «Заездник» (zajezdnik) - это шляхтич, который участвовал в таких захватах или был известен своими заездами. Заезд проходил по определённым правилам. Обычно его проводили после неудачной попытки решить спор законным путём через суд, шляхтич собирал вооружённый отряд из родственников, друзей и слуг. Отряд захватывал спорное имение силой. Часто такие конфликты перерастали в длительные частные войны между шляхетскими родами. Заезды были характерной чертой шляхетской вольницы в Речи Посполитой и отражали как относительную слабость центральной власти, так и особые привилегии шляхетского сословия. Это явление часто описывается в польской исторической литературе, например, в «Пане Тадеуше» Адама Мицкевича есть известное описание заезда.

[2] Посполитое рушение (польск. pospolite ruszenie) - это форма всеобщего военного ополчения в средневековой Польше и позже в Речи Посполитой. Это был один из важнейших военных институтов польско-литовского государства.

[3] Трясень («Trzęsienie») – это украшение в виде дрожащих/колышущихся элементов, обычно из драгоценных камней или металла, которое крепилось к головному убору.

[4] Фольварк (польск. folwark, от нем. Vorwerk) – это форма организации сельскохозяйственного производства, характерная для феодальной Польши, Литвы, Белоруссии и западных земель Украины в XV-XIX веках. Это было помещичье хозяйство, которое специализировалось на производстве сельскохозяйственной продукции на продажу. В фольварках использовался принудительный труд крепостных крестьян (барщина). Основными культурами были зерновые, которые шли на экспорт через балтийские порты. В приведенном отрывке упоминание фольварка («как забой свиней на зимнем фольварке») используется для сравнения – автор подчеркивает, что для Бидзиньского жестокие казни были таким же обыденным делом, как обычный забой скота в помещичьем хозяйстве.

[5] «Резун» (польск. rezun) – это историческое презрительное название участников крестьянских восстаний на территории Украины в XVII-XVIII веках, которое использовала польская шляхта. Происходит от слова «резать» из-за жестокости восставших по отношению к польским землевладельцам и их семьям.

[6] Курная хата (или курная изба) – это древний тип жилища, характерный для бедных крестьян в средневековой Восточной Европе. Главная особенность курной хаты – отсутствие дымохода. Дым от печи выходил прямо в помещение и затем через волоковое окно или специальное отверстие в потолке (дымник).

[7] «Почтовые» (или «почтовые люди», «почет», «почт») – это военные слуги шляхтича в армии Речи Посполитой XVI-XVIII веков. В составе польско-литовской кавалерии того времени каждый товарищ (шляхтич-воин) должен был привести с собой определённое количество вооружённых слуг – почтовых. Они составляли его «почт» (отряд). Обычно это были небогатые шляхтичи или простолюдины, экипированные и вооружённые за счёт товарища.

[8] «Паланка» – это административно-территориальная единица в Запорожской Сечи, военно-административный округ.

[9] Семены (от польск. semen) – это конные воины на службе у польской шляхты в XVI-XVII веках. В основном это были казаки, нанятые польскими магнатами для охраны их владений и военной службы. То есть это наёмные казацкие отряды на службе у польской знати.

[10] Левенцы (lewensi) – это разбойники или дезертиры, действовавшие на территории Молдавского княжества и в приграничных областях Речи Посполитой в XVII веке. Слово происходит от турецкого «levent» (солдат, наёмник). В историческом контексте левенцы были схожи с казаками-разбойниками. Они формировали банды из беглых солдат, крестьян и авантюристов, часто нападали на торговые караваны и грабили местное население.